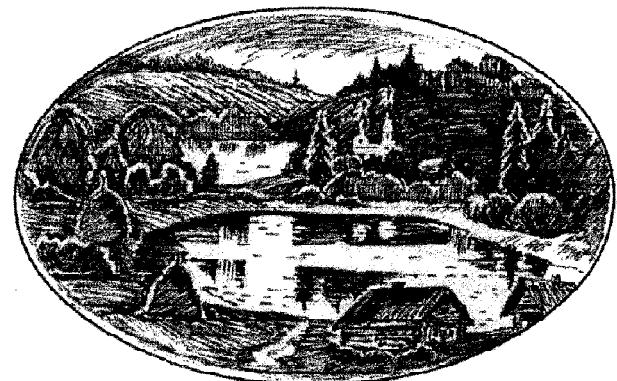


Вячеслав Шапошников



**ДЕНЬ
НЕЗАБЫТИЙ**

стихи, поэмы

**Писательская организация
Кострома, 1999 г.**



© Костромская областная писательская организация



ВОЗВАЩЕНИЕ К СВЯТЫНЕ

открывая этот поэтический сборник, читатель должен знать, что перед ним не очередная книга давно знакомого костромичам поэта В. И. Шапошникова, но прошедший через горнило искреннего покаяния голос православного священника о. Вячеслава — его поющее сердце, его духовное созерцание, его молитвенное предстояние с поэтическим словом перед тысячелетней национальной святыней Добра, Истины и Красоты. Священник — поэт! Такое соединение для нас еще необычно и непривычно. Но на самом деле оно очень органично и естественно: предпосылки к нему возникали уже в период зарождения новой русской литературы, в пушкинскую ее эпоху.

Именно Пушкин, «начало всех начал», наметил пути соединения русского поэтического слова с родной для него православной духовностью. Православная вера *соприродна* поэтическому творчеству: молитвенное слово русского человека зарождается на дне его души и произносится из глубины верующего сердца. «Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер, — считал Пушкин. — В России влияние духовенства столь же благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением... Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою: история ее требует другой мысли, другой формулы...»

Библейскому законничеству, католицизму с его мертвым рационализмом и волевым принуждением православная Россия предпочла *благодать* верующего сердца. Духовным инстинктом она воспринимала Божественные энергии, которые пронизывают изнутри и удерживают от распада и энтропии наш несовершенный, тварный мир. Он искони воспринимался русским человеком как «сложный организм, в котором движение материального солнца и движение духовно-религиозного солнца срастаются и сплетаются в единый

жизненный ход, — замечал русский мыслитель Иван Ильин. — Два солнца ходят по русскому небу: солнце *планетное*, давшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу-осень, строго-грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму; и другое солнце, *духовно-православное*, давшее нам весну — праздник светлого, очистительного Христова Воскресения, летом и осенью — праздники жизненного и природного благословения, зимою, в стужу, — обетованное Рождество и духовно-бодрящее Крещение».

Своей поэзией о. Вячеслав напоминает нам о «дву-солнечном вращении», определившем русское восприятие природы и человека, русское чувство Родины. Православие наделило нас щедрым даром духовного созерцания сквозь видимый мир *певечернего света* мира невидимого. Окружающую природу русский поэт воспринимал как Священное писание. Этот Божий дар помрачили годы безбожия с торжеством плоского позитивизма и материализма. Они приглушили в русском таланте духовную глубину, изощрив взамен чувственное восприятие, видение материальной, внешней оболочки вещей и явлений, которая все более и более истончалась, опустошалась, пока, наконец, не превратилась в форму без содержания, в «гроб поваленный».

Отец Вячеслав пытается возродить утраченный нами дар внутреннего зрения, внутреннего созерцания. Он прозревает на открывшемся в осеннем небе просвете глаз невидимого Бога. И звезда в Его оконце — как слеза и как искра Божия — мелькает и дрожит среди голых ветвей. В его поэзии постоянны незримые переходы от внешнего опыта к внутреннему, от чувственного видения — к внутреннему зрению, к духовному оку. Русская природа хранит генетическую память о прошлом, излучает из себя по-прежнему духовную энергию. Соприродной является, например, сама русская святость: «Любобезмолвного, кроткого, тихого старца светлая кротость болота открыла во мне». Природа у поэта превращается в храм, дарит верующему сердцу лучи Божией благодати, укрепляет падшего человека, зовет его на духовный подвиг. Все земное скрывается в себе светлый отблеск небесного, вечного. Подобна храму осенняя роница сквозная, когда она возносит над собою кроткий свет, и в осеннем предвечерье открывается небесного окошка свеченье. Весь мир родной природы намолен и открыт Богу: «средь леса ли, среди ли чиста поля смиренно на колени опустись». И когда Божья длань отрясает над русской природой

кропило, все тонет в трепете веселом, «горошины влаги миганием живут озорным». Поэт чувствует «иноческую бледность реки», «схимническую тихость простора», «святое рождество вечера». «Вон сосенок — свечек панихидных — розовато теплятся огни» и «словно прозревая свет Фаворский, в блеске все оконное стекло». Медноцветные вершины елей — главы золотых звонниц, белоствольная роща — белый смиренный храм, тлеющее над нею облако — купол. Вся природа России испытывает «чудное томление по небесным белым островам»:

А вон тот задумчивый осинник,
трепетом объятый и огнем,
разве он, скажи, не сотаинник
в каждом помышлении твоем?

Русская зима — тот же Божий дар человеку: неспроста народ наш живет полгода среди белизны. Россия лечится дождем и снегопадом, ибо в них видится поэту «существо небесных откровений».

В то же время поэтическая книга о.Вячеслава далека от идиллии. В ней звучат, нарастают, суровые, трагические, набатные звоны. «Храм поруганный» — так определяет священник-поэт современное состояние мира вокруг нас и в нас самих. Воздорить русский храм можно лишь с благодатной помощью, с верой в вечную и нетленную Святую Русь — праведников, заступников и неустанных молитвенников за лежащее во грехе, поруганное и порушенное ныне Отечество наше. Еще Пушкин утверждал, что на любви к родному пепелищу, к отеческим гробам по воле Бога самого от века основано самостояние русского человека, залог его величия. Без «животворящей святыни», без веры в Святую Русь рассыпается в прах, превращается в нежить нынешняя безбожная жизнь.

Корень всех наших бед о. Вячеслав видит в том, что русский человек в самом начале ХХ века впал в соблазн, изменил своим православным святыням, в безумной гордыне отрекся от них. И вот на исходе этого века, бесстыдно преданный «слепыми вождями слепых», он оказался в ситуации глубочайшего кризиса, результатом которого явился распад страны, хозяйственная разруха, нравственная деградация, разгул темных, бесовских сил. Все наши страдания и лишения — прямое следствие утраты веры. Кризис, переживаемый нами, — не политический, не хозяйственный: источник его имеет духовную природу, уходит в глубину нашего бытия. И противостоять ему

можно только из глубины — на путях религиозного покаяния и духовного возрождения.

Поруганную и опустошенную душу русского человека терзают ныне всевозможные бесы-искусители. Но поэт верит в коренную особенность нашего народа, приоткрытую им в пословице: «сей слезами — радостью пожнется». Русский человек принимает страдание как Божие попущение ко вразумлению Его заблудших чад. В бедах и страданиях он не падает духом, а, напротив, внутренне очищается, освобождается от всего чужого и наносного. Трагические события истории, смуты и бедствия заставляют его сосредоточиваться на самом главном, существенном и жизненно важном. В горе и лишениях прощаются в нем духовные родники, чистые ключи живого творчества. Русский человек светлеет в метелях и вихрях, одухотворяется в самом страдании. Вот почему прозревает поэт-священник «свет муки», исходящий от «скорбных удолий». В разоре и материальном оскудении возжигаются то тут, то там на русской почве духовные светильники, слышатся путеводные и спасительные «метельные звоны». За растерзанной и обглоданной инородцами Родиной нашей встает образ крестного пути. Светлая, обнадеживающая печаль струится от каждой брошенной, погубленной деревни, а над городами встает светлым заревом. Целый век пилят русскому народу становую жилу, а он живет вопреки всему. Сгибают его в дугу, а над ним поднимается нимбом светлая радуга. Православная вера, суровый климат, тяжелейшие исторические испытания воспитали в русском народе чудесную способность извлекать духовный огонь из самого страдания по учению и примеру сердцем воспринятого Страстотерпца — Христа-Спасителя. И вот уже возрождаются храмы и звучат колокольные звоны от Москвы, Троице-Сергиевой Лавры, от Ростова, Ярославля и Костромы:

Хлад нездешний мне щеки студит...
Вновь вокруг меня молятся люди.
Все тут русичей поколенья.
Слышу глас:
«Опустись на колени!
Русь Святая жива! Как пред битвой,
укрепись вместе с нею молитвой».

Юрий Лебедев,
доктор филологических наук



МЕТЕЛЬНЫЕ ЗВОНЫ



Р

РУССКИЙ ДЕНЬ

сем музы́кам — м у з ы́ к а
(слышу — сердце щемит):
одинокий курлыка
над болотом кружит...
Небо — в плаче и стоне.
Меркнет пасмурный день.
Мглится на небосклоне
крестовидная тень.
Будто вовсе не птица
там кружит не спеша:
в горе где бы забыться —
ищет чья-то душа...
Средь глухих, волокнистых,
мертво-пепельных туч,
как средь зимних скалистых
голых северных круч,
ищет, ищет приюта
и не может найти...
Непогодная смути
там везде на пути...
Этой смутою-мглою
я средь топей накрыт.
Русский день надо мною
журкой стонет-кричит...





9



В

В ХРАМЕ ПОРУГАННОМ

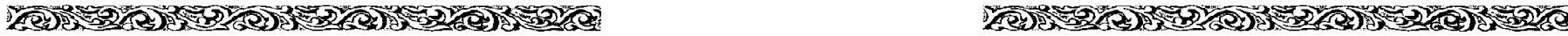
1

древнем храме, туманом повитом,
изувеченном, полуразбитом,
среди стен его одичавших
слышу хор голосов отзувавших.
То он явственней, то он глуще...
Будто чьи-то тревожные души,
среди утренней сырости и стыни,
песнь-мольбу, позабытую ныне,
вспоминают и вспомнить не могут...
Так в чащобнике ищут дорогу,
так среди непроглядной метели
вдруг послышится звон еле-еле,
пропадет и послышится снова...
Напрягаю я слух. Но ни слова
не расслышать в подкупольном гуде.
Померещилось?.. Что это?!.. Люди
вокруг меня, словно тени, восстали.
Шепот невыразимой печали,
ропот боли великой и скорби
мою спину по-старчески сгорбил.
Кто они?.. Озираюсь в тумане...

2

В храм былие его прихожане,
как к заутрени, на рассвете
все стеклись из минувших столетий,
все пришли... И мужи тут, и дети,
жены, старицы, молодицы...
Как светлы и прекрасны их лица!

10



Как чисты и молитвенны взоры!
Мой же взор потемнел от позора...
Тень тут — я, а они — нет, не тени!
Пасть пред ними, как есть, на колени:
«Православные! Люди! Простите!
Отмолите мой грех! Отмолите!
С моего, с моего попущенья
всё здесь «в мерзости запустенья».
С моего малодушья и страха
этот храм ныне страшен, как плаха.
Заслонил ли его я собою
перед глумящимся сатаною?!.
Встал ли я, хоть однажды, открыто,
как охрана его и защита?!.»

3

Оборвался мой шепот дрожащий.
Взгляд в подкуполье кружит моляще.
Там, в огромной пробоине, свято
реет облачко дивно-пернато.
«Боже! Боже! Прости, если можешь!..»
Храм, как эхо, вздохнул: «Боже! Боже!..»
Из пролома, где Горнее место,
ослепило вдруг снопиком света,
будто там просияла мне зrimо
Вседержителя диадима* ...
И исчезло, пропало виденье
В ослепляющем этом мгновенье.
Вокруг меня — никого. Над карнизом —
дрожь березоньки светлоризой,
лихорадка высотобоязни,
ужас прежде невиданной казни...
Вокруг меня — лишь полынь да крапива
торжествующе-горделиво,
зло топорщутся, цепко стоя
над холмами кирпичного боя...»

* диадема/диадима (греч.) — царская корона.

4
А во мне самом — разве не то же?!.
С этим храмом мы так похожи!..
Так душе моей горько знакомы
те же осьпи и проломы,
жгут ее, беспокоят все чаще
те же злые бурьяные чаши.
Те же, те же зияют в ней ямы...
Православные русские храмы,
храмы белые — свет России —
нами отданы темной силе —
на расправу, на растерзанье,
на закланье, на поруганье...
Сколько сгибло их в этом веке!..
Мука прервана? Храмы-калеки
перед нами — немым укором,
несмыываемым с нас позором...
Над Отечеством-пепелищем
дух разора великого рыщет —
под шипенье диавола-змия:
«Храм поруганный — вся Россия!..»

5

Храм поруганный — вся Россия...
Храма древнего стены святые
вдруг раздвинулись, как живые,
своды голубем возлетели
в высь такую, что зrimы еле!..
Хлад нездешний мне щеки студит...
Вновь вокруг меня молятся люди.
Все тут русичей поколенья.

Слыши глас:
«Опустись на колени!
Русь Святая жива! Как пред битвой,
укрепись вместе с нею молитвой.
Зри: клубятся не клочья тумана —
то дыханье великого стана,
не деревьев колышутся кроны —
то хоругви его и знамена!»

Пробужденье грядет! Пробужденье —
от бесовского наважденья!
Русь Святая восстанет снова —
над вчерашнею, безголовой,
над безбожной, кроваво-серой —
воссияет великой верой!
Над безверием — смрадным хламом —
воссияет пресветлым храмом!..»



ПОХОЛОДАЛО...

Новость свежая: похолодало.
Новостей не бывает свежей.
Как душа-то оголодала —
не насытиться свежестью ей!
Мир притих, как покинутый остров.
В пол-окна ледяная броня.
Вновь дано мне почувствовать остро
вкус простого житейского дня.
Встали реки, застыли озера,
но под их убывающий свет
по домам завелись разговоры,
потекли ручеечки бесед...
Вот и я, поиспытанный веком
(хоть с тюрьмой и сумой не знаком),
с понимающим человеком
засиделся за крепким чайком.
Не горенье в подтопке — сраженье:
в лад с беседою нашей крутой
расстрелялись, что ружья, поленья.
К лютой стуже, наверно, сей бой...
Обложила нас сутемень волчья.
Подошли мы к опасным словам:
как спасти можно Родину нам...
Но... об этом подумаем — молча...



ПЕРЕХОД

х, в переходе подземном пестро от
народу!
Эти — «туда», так сказать, а другие — «оттуда».
Кто-то, незримый, в потоке прилип ко мне с ходу,
духом — Иуда.

И зашипел подколодной змею в затылок.
И норовит проскользнуть без зацепочки в душу.
Каждое слово — что с банного пола обмылок.
Липнет: «Послушай!..»

Шаркают, чавкают в слизи подземной подошвы
(там — наверху — суговая кружится «ляпуха»).
«Поприглядись-ка!» — советует спутник мой
дошлый

в самое ухо.
«Взгляду средь кафельных стен тут и скользко и
гадко?
Ты предпочел бы, конечно, дорожку другую?..
А не желаешь взглянуть (ну хотя бы украдкой) —
чем тут торгают?..»

Рядом с торговлишкой всяческим пестреньким
срамом,
сидя у стенки, в грязи, в сквозняках «перехода»,
локтем дитя прикрывает кормящая мама...
«Чем не свобода?!..»

К этой же стенке себя кое-как прислонивши,
ноет, канючит, почти без расчета на жалость,
голосом ветра — осевшим, охрипшим, осипшим —
жалкая старость.

«Вон — впереди — посмотри — гитарист

ТФ ли поет, то ли стонет на все подземелье,
щиплет какой-то мотивчик, весьма монотонный...
То-то — веселье!..»



Вон и еще (без труда угадаешь латрыжку).
Шрама страшна на щеке борозда ножевая.
Тянет навстречу багровой культи кочерыжку,
не окликая.
Мечутся шавки, поджавши хвосты, меж спешащих.
«Жалкие твари... А тоже ведь — не без понять:
поднаучились вот — у человеков просиявших...
Меньшие братья!..

Выбрал, кого пожалеть тебе: пса иль — калеку?
Выбор — непрост? Молодец! Рассуждаешь ты здраво!
Ибо дано тут и псу, и... «венцу» — ЧЕ-ЛО-ВЕ-КУ
равное право...»

В свете безжалостном лампочек люминесцентных
лиц, проплывающих мимо, пугает бескровье.
Взглядов, летящих навстречу мне, одномоментных
гвозди — в межбровье.
«Этот кошмарный тоннель пред тобой — бесконечен.
Нет им числа — всем его заселившим калекам!
Кто, мне скажи-ка, в стране твоей не изувечен
пройденным веком?!.

Ныне ж пора — для увечий особого рода!
Скоро по русской душе бесы справят поминки,
вытряхнут все, что осталось в душе у народа,
все — до пылинки!»

И хохоточек надтреснутый — в уши мне, в уши!
И никуда от него тут не скрыться, не деться...
«Вот когда время пришло — выдать книжицу
«Мертвые души»!

Что с тобой?! — Сердце?!.
Кстати, — о сердце... В порядке, не слишком пожарном,
но и оно (вслед за нею — за «русской душою»)
будет объявлено органомrudиментарным.

Правды не скрою!
Впрочем, и так уж у многих, считай, его нету.
Слишком неплохо я знаю породу твою — человечью!
Слишком неплохо разведал дорожку я эту —
путь к бессердечью!

Вон она — тянется детская ковшик-ладошка...
За подаяньем? А может — вопрос преподносит:
— Дяденька, ты не читал про «слезинку ребенка»?!.
Как он — вопросик?!.
Вот пред тобою — набор человечьих несчастий.
Как бы паноптикум. Так что спрошу тебя, кстати:
к каждому ежели тут подойти с соучастьем, —
сердца-то — хватит?!.
Ну-ка — прикинь: чем реально помочь ты им можешь?
Так — мимоходом — предаешься короткой печали...
Может, «за други своя» свою душу положишь?!.
Это — едва ли...
А, между тем, пред тобою — лишь малая-малость,
жалкая кроха, от целой отпавшая глыбы.
Если б тебе всю машину увидеть досталось —
волком завыл бы?..
Посозерцай в немоте и духовном бессилье
эти кладбища живых, эти жизни увечной погости.
Сколько таких «переходов» теперь по России? —
Версты и версты!
Каждый из вас в этом мире — всего лишь прохожий.
Бог вам оставил любви совершенной заветы?
Пооглядись: содрогнулся ли кто тут всей кожей,
видя все это?!.
То-то же! Мне не соврёшь ни «сочувствием взгляда»,
ни бормотанием «бедные сестры и братья»!..
Тут сораспятья одна лишь приемлема правда.
Да! — Сораспятья!
Ну, а коль нет за тобой ничего такого,
стоит ли нам предаваться сердечной мороке?!.
Шествуй себе, поспешай деловито-суроко
в общем потоке!
По «переходу»! Как прочие дяди и тети!
По «переходу»! В слепом растворившись народе!
Все вы, прости, не в Великой России живете,
но — в «переходе».



Впрочем, для вас состояние это — не ново.
 Сзади у вас «переходных периодов» столько!..
 Автомедоны-то ваши весьма бестолково
 правят Русь-тройкой...
 Ныне ее не назвать уже гордо летящей.
 Еле плетется, бедняга... Повыдохлась вроде...
 Жизни нигде — согласись — не видать настоящей.
 Все — в «переходе».
 Он — сквозь кошмары «тюряг», лагерей и колоний.
 Он — сквозь детдомовский сумрак, сквозь мглу
 детприютов.
 Он — сквозь безумства бесчисленных семейных
 агоний...
 Больно кому-то?!.
 Он — через судьбы прожженных Полынью-
 звездою.
 Он — через судьбы горевших в Чечне и Афгане...
 Кто припадет тут, скажи мне, с живою водою
 к каждой-то ране?!.
 Так что — вперед, от себя отсекаяувечья,
 воздух тяжелый тараня и сдвинувши брови!
 Разве не прав я?! Уместнее тут бессердечье
 всякой «любви»...»

К свету осеннему! К свету сырой непогоды!
 Мчусь, как к спасенью, — в объятья метели-
 «ляпухи».
 Как оторваться от вас, как спастись средь других
 пешеходов,
 слов оплеухи!



КОЛЫБЕЛЬНАЯ-ПЛАЧ

над новорожденным младенцем,
юной матерью убиенным и ею же
брошенным в мусоропровод



*К заурядному факту
телехроники,
все еще не приучившей нас видеть
страшное только глазами.*

от в какой «колыбели» лежишь,
 не крещен, не отпет...
 Тьма кромешная, смрад
 в день рождения тебя обступили... —
 «Нет! Нет! Нет! — все кричит во мне. —
 Видишь ты ласковый свет,
 дышишь веяньем
 ангельских легких воскрывий...»
 Коченеющий комышек...
 Баюшки-баю-баю!..
 Высоко-высоко
 над зловонным железным колодцем
 первый смех твой сейчас —
 над веселой лужайкой в раю,
 словно ключик весенний, звенит,
 словно бабочка, вьется...
 Ангел светлый тебе там поет:
 «Баю-баю-баю!..»
 Божья длань там со щечки разбитой
 слезинку кровавую стерла...
 Ты прости мне, прости
 «колыбельную» эту мою!
 Не могу продолжать:
 перехвачено судорогой горло...





ПОСЛЕ МОЕЙ ХИРОТОНИИ



ладность мертвую штыка,
тяжесть мертвую приклада —
все познала ты, рука,
все, что «надо» и «не надо»... .

И с пилой, и с топором,
и с кувалдою, и с ломом
каждый мускул твой знаком.
Да и что нам не знакомо?!. .

От мотора до пера
все познала ты, десница...
Только бывшему вчера
с настоящим не сравниться.

В мире тяжести такой
ты, рука, еще не знала:
робко ты к груди прижала
крест священнический мой.



ЧАША



, чаша наших бед!..
Веками (да, веками!)
ее кровавый свет —
что зарево, над нами.

Погибшие в былом,
испившие ту чашу,
не ветер за окном —
я муку слышу вашу.

Сожмется сердце вдруг:
чей оклик из былого —
руки озябшей стук
о лед окна ночного?!. .

Чей шепот там — спроси, —
чьи стонущие очи?
Лишь на одной Руси
так мучат память ночи.

Лишь на Руси у нас,
на ледяном закате,
беды грядущей час.
тревогой так окатит.

Но — прочь, все страхи, прочь!
Смотри и будь бесстрашен:
сад Гефсиманский — ночь —
моление о ЧАШЕ... .





II

* * *

ереломная эпоха...

Нет конца и края ей.

Переломов хряст и грохот —
в горькой памяти моей.

Перегибы, переломы...

В дне июльском вздрогнешь вдруг:
гул проломный — вместо грома,
смертоньки костлявой стук...

Господи! Спаси, помилуй

мой измученный народ!

Пилят становую жилу
целый век!.. А он — живет...



II

ПОСЛЕ ИСПОВЕДАНИЯ

аз же точию свидетель есмь...

Слова священника из последования исповедания

осле исповеди. В Алтаре.

Пред Престолом. Лицом — к заре.

Литургию пора начать.

А на мне — как будто печать
безъязыкости, немоты...

Горьких судеб я зрю кресты
в крестовинах оконных рам?..

А заря за ними — я сам?..

Что со мною?! — Куда ни взгляни, —
исповедители мои,

исповедники... Стар и мал.

О, каким я вдруг старым стал!..

Словно на плечи мне легло
все, что было им тяжело...

Я — свидетель? И только?!. Нет:
их ответ был и мой ответ.

Их беда — и моя беда,
их нужда — и моя нужда...

На Евангелие рука
опустилась, легла, тяжка, —
на чеканный его оклад...

В заоконье застрял мой взгляд.
Будто жду: вот сейчас прогорит
и затянется рана зари...

Будто жду, что во мне заживет
боль, которой названье — н а р о д...





**РОК-КОНЦЕРТ В ЧЕРНОБЫЛЕ,
вскоре после катастрофы случившийся**

«**3**

Гимн в честь чумы! Послушаем его!
Гимн в честь чумы! Прекрасно! Bravo! Bravo!

A.C.Пушкин

а весельем ходит горе по пятам», —
так когда-то кто-то молвил на Руси.
Но такого не случалось слышать нам,
чтоб за горем — да веселье по пятам,
да такое, что святых хоть выноси...
Подменили ту пословицу — шутя:
горе-горькое совсем недалеко,
ан веселье — тут как тут: «А вот и я!
Отворяйте-ка мне двери широко!..»
Здесь, где смерть во всем незримо разлита,
где беда нас к страшной бездне подвела,
разгулялась, расходилась срамота!..
Как для сердца ее лихость тяжела!..
Кто ж кривляется, кто ж рожи корчит там,
где нам скорбь велит в печали помолчать?!.
Кто ж безумный подымает тарарам
там, где плачу да молитве бы звучать?!.
Как открыто сатана тут правит бал!
Как беснуется рок-дива в кураже!..
И предивно мне, что рукоплещет зал,
что подпел он ей, ведьмующей, уже...
Скачет, прыгает в колготочках она!
Знать, «символику» тут видеть все должны:
боль Чернобыля — она черным-черна,
потому-то и колготки те черны!..
Зал ей — мал! Страна, по «телеку» смотри,
как у бездны, как у прорвы на краю
в три прихлопа, в три притопа (раз-два-
три!)
разыграли скорбь великую твою...



**ЛЕС ПО ДЕРЕВУ
НЕ ПЛАЧЕТ?**

Л

ес по дереву не плачет...
Ну а дерево — по лесу?
Тоже не рыдает, значит?
Лес ему — «без интересу»?..

Я-то слышал, как под шквалом
бор катил свой шум, что море:
«Всем стоять! Большим и малым!
Ветвь — за ветвь, за корень — корень!..»

Я-то слышал, я-то знаю,
как стенанием общей боли
отзывалась глубь лесная
на падение любое!..





НОЧНОЙ ВОКЗАЛ ПОСРЕДИ РОССИИ

tot nizennykij graznyj vokzal,
gde kruzhit suetnja bестolkovo...
Что мне тут посмотрело в глаза
столь беспомощно, но и сурово?
И во мне поселился тот взгляд.
Как в мгновенном и жутком прозренье,
огляделся я. Дантов-то Ад —
просто выдумка с этим в сравненье.
Бьет наотмашь меня по глазам
эта явь. Этот табор бессонный...
Будто все эти люди — я сам,
на их множество поделенный.
И во мне они странно слились,
став моей и плотью и кровью.
На скитанья разбитая жизнь
вдруг слетелась ко мне, как к становью.
Но, увы, не покой обрела —
всепронзающий взгляд ясновидца.
Предо мной эта полночь зажгла,
как костры, незнакомые лица...

Вон он — тридцатилетний старик,
житель свалки, подвала, вокзала...
Не судьба — о погибели крик!
Чья рука наши уши зажала?..
Распивающих кучка в углу:
ножевые да шильные взгляды...
А вон те, что лежат на полу —
на простынках «АиФ»а и «ПРАВДЫ»...
Рядом — сгребие (мусор да грязь)
и — лицо, и лицо че-ло-ве-ка...
Называлось оно и постась
на высотах ненашего века.
Там вон — беженцы (при узлах).
Это с нами сегодня снова:
кровь и ненависть, смерть и страх,
и — на всех четырех ветрах —
горемыканье в поисках крова...
Вон сидит она — юная мать.
Крошка-доченька к ней припала.
Ждут их где-то, иль некому ждать?..
Хрип динамика. Бред вокзала.
Плач младенца мне сердце рвет.
Что мне слышится в этом крике? —
«Содрогнись! Это все — твой народ,
может, самый святой и великий...»
Где еще есть такая страна,
где еще есть такие вокзалы,
где так люди бледны и усталы,
будто прожили вечность без сна?!.
Тут, кого ни коснись, ни задень, —
всяк пожаром незримым охвачен.
Не младенец — наш завтрашний день
в неутешном заходится плаче...





ВО СНЕ И НАЯВУ

там — горят, и там — горят...
 Ударь в набат! Ударь в набат!
 Ты ж видишь (пусть огонь незрим),
 что все вокруг объято им!
 Смотри, смотри: твоя страна
 со всех сторон подожжена!
 Вы все охвачены огнем!
 Но... дрема странная кругом,
 и редко где, и редко где
 догадываются о беде...
 Ударь в набат! Ударь в набат!..»

Очнулся, заревом объят.
 Горит, кричит со всех сторон
 явь, перелившаяся в сон...



НОЧНЫЕ ДУМЫ НА ЗАВТРА

Блаженны прошедшие страшные места тьмы,
 чудовищную ночь и тяжкие и болезнестворные
 туманы греха, вступившие в успокоение и радость.

Св. Макарий Египетский

хо-хо... Как видно, верно говорится:

«каково живется, таково и спится...»

Ночь-то — с год! Как будто пред тобой —
 гора...

Знай одно — взбирайся, майся до утра!..
 Перед самым носом — не простая тьма:
 темные вопросы, мука для ума,
 для души и сердца... Чей-то взгляд в упор —
 никуда не деться... Совести укор.

Доживает век свой мой двадцатый век.

Что там «в перспективе», русский человек?..

Будущее — туча за большой горой?

Иль — гора за тучей?.. То и то, друг мой, —
 образы, которых тут не обойти:
 тучи все да горы были на пути...

Были нам знакомы громы да дожди,
 срывы да подъемы... То же — впереди?..

Может, не прошли мы самых страшных мест?..

И пока что мимо — самый тяжкий крест?..

Вступим ли мы в радость? Будет ли покой?..

Или ждет «награда» — болью и тоской?..





КРИК

Брату-русичу

изнь русская длится полоном.
 А глянешь: те дремлют, те спят...
 Каким еще криком иль стоном
 могу я пронять тебя, брат?!.
 Душа распинаться устала
 за всю эту гиблую «жись».
 Вот тело мое. Если мало,
 распни его. Только очнись!..

МЕНЬШЕ БУДЕТ...

— Что ты — сам себе злодей:
 никого помочь не просишь,
 боль не к людям, от людей —
 нестерпимую — уносишь?!.
 — Жжет она. В глазах темно...
 — Это жженье кто ж оставит?!.
 — Болей — без моей — полно!
 Хоть одной там меньше будет...



ГЛУХОМУ

— Как-нибудь заходи...
 — Да ладно...
 Как-нибудь, может быть, зайду... —
 Смотришь ты на меня прохладно,
 будто выпроводил беду
 и боишься ее возвращенья...
 Без тревожных-то слов моих
 жил себе ты — в своем затаенье,
 жил, как множество прочих г л у х и х...
 Много, много вас по России, —
 не желающих слышать, знать!..
 Ох, зомбированные разини!..
 Вам среди гибели — тиши да гладь...
 Жаль мне слов моих, что остались
 среди стен твоих сиротеть.
 Все глухому они достались.
 Нерассыпанных, ждет их смерть...
 Вот сейчас клацнет дверь запором,
 повернешься ты к ним лицом,
 назовешь их, с ухмылкой, в з д о р о м ,
 да на том — и дело с концом...
 Думал: нес их е д и н о в е р ц у...
 Слыши, будто издалека:
 «Ты не все принимай так к сердцу.
 Перемелется — будет мука...»
 О совет этот, посланный в спину,
 а попавший (опять же) в грудь!..
 «Не премину, — шепчу, — не премину
 им воспользоваться как-нибудь...
 Перемелется наше лихо...
 Как же, как же! Надейся, верь!..
 Как в тебе, на той «мельнице» тихо,
 на замке непроломная дверь...»





Г

ОТПУСКАЯ НАРОД...

крестом отпускаю народ от обедни.
 Ну вот — приложился и самый
 последний.
 Крестом осеняю застывших поклонно.
 Как трудно уйти мне сегодня с амвона...
 Как будто течет все людская чреда,
 а в ней что ни взглян, то — беда иль нужда...
 Как будто прочитана горькая книга,
 где ты не познал радослезного мига...
 Как мало счастливых я знаю в приходе...
 Во счастье-то в храмы немногие ходят.
 Хоть что оно — счастье-то, если без Бога?!.
 Игрушка-пустышка. Убого, убого...
 Какая же стужа прошлась по народу!
 Как будто за окнами времечко года —
 не лето зеленое... Белая мгла
 морозным дыханьем меня обожгла...
 И, стоя с крестом на амвоне под нею,
 одно ощущаю: седею, седею...



Н

СТРАНИКУ СЕРГИЮ

Совершенная любовь вон измещет страх.

Иоанн. 4, 18

емногих знал я, среди дней вчерашних,
 о ком бы ныне мог сказать себе:
 «Такие люди внутренне бесстрашны»,
 двоих-троих — во всей моей судьбе.
 Сочувствую отчаянным я людям,
 не ставящим опасность ни во что:
 бесстрашье их — от «хуже уж не будет»...
 Я не о том толкую, не про то...
 Не героизм военный разумею,
 не подвиги мгновенные души,
 не жертвенность за «правду» иль «идею»...
 Сии примеры, сколь ни хороши,
 не отражают света той любви,
 которую в тебе почуял я.
 В твоей улыбке, в каждом жесте, слове
 она сияет чище, чем заря.
 Всех русских — прямовзорных,
 прямоплечих,
 казалось бы, двадцатый век извел,
 всех истолок, измял, перекалечил,
 в могилу до поры, до срока свел.
 Катком прошелся — и поставил точку,
 и ядовитую излил хулу...
 Но — чудо! Пробиваются росточки
 сквозь черную зловонную смолу!
 Мертвяций панцирь взламывают корни!
 В родной земле их силы соль и суть.
 Они все непокорней, все упорней
 живым росткам проламывают путь.



И вот — сегодня ты передо мною
неодолимым русичем возник,
сияющим любовию святою
к земле и вере нашей! Я — стариk —
я только побыл близ тебя — прямого,
сияющего духом и душой, —
и подтянулась вся моя основа,
и обрела и высоту, и строй!
Иди, родной, среди народа странствуй!
И да измешется любовью страх!
Шепчу вслед я не «прощай», а
«здравствуй»
с надеждой в провожающих глазах.

* * *

«Круглые сутки»...
Какие там «круглые»?!
Я бы сказал, что они
многоуглы.
Даже средь ночи,
из мрака и мглы,
в сердце нацелены
эти углы...



Н

НАД РУСЬЮ НОЧНОЙ

1

е ветра, не ветра тягучие песни
возносятся ввысь, огибая мой дом,
в окутанном мглою глухом поднебесье
не ветер гудит — погребальный псалом.
Едоцкое чавканье в теми осенней,
хлебки да утробные урканья в ней...
В такие вот ночи мольба о спасенье
становится плачем Отчизны моей.
Гляжу в эту ночь. Предо мною во мраке,
как будто при свете незримой луны,
так седы холмы, так черны буераки,
озера и реки так жутко бледны...

2

Свет муки исходит от скорбных удолий*,
от каждой деревни, забывшей про сон,
от каждой дороги, от каждого поля,
над городом каждым — что зарево, он.
От этого света все дали прозорны.
Мой взгляд, в небывалом полете ночном,
свободно объемлет немые просторы,
где кустик любой ему близко знаком.
Летит он над Русью, в прозреньях
мгновенных,
над горьким покоем безвестных могил
безвинно умученных и убиенных...
Мой взгляд ничего-ничего не забыл.



И всюду — навстречу — очей воспаленных
укорные взоры, куда ни взгляни.
За черною сетью ветвей оголенных —
слезинки святые — ночные огни.
Плачь, Русь моя, выплачь под стонущий
ветер
всю боль, всю тревогу в горючих слезах —
о всех измытаренных этим столетьем
твоих сыновьях и твоих дочерях,
о всех заблудившихся в дебрях безверья,
о спившихся, падших, опутанных злом...
Как в горе, во тьме зашатало деревья,
как в горе, траву закрутило кругом...

И небо, и воды — в безудержной дрожи,
в ознобе, которому — нет, не пройти...
Под нависью туч — только шепот мой: «Боже!
Прости, если можешь, прости нас, прости!...»
О Русь! Нам с тобою не выплакать горя,
ни криком, ни стоном его не унять.
Но завтра, с рассветом, не с мукой во взоре —
с решимостью твердой нам день начинать.
Какой бы ни жгло нас неистовой болью,
какая бы нас ни тирианила жуть,
Русь, милая, с верой, надеждой, любовью
продолжим мы Богом начертанный путь.



«ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗВАХ...»

Из глубины воззвах к Тебе, Господи,
услыши глас мой...

Псалом 129-й. Псалтирь

осеннем непогодном дне,
в пустующих полях
слова псалма звучат во мне:
«Из глубины воззвах...»

Средь тьмы и тьмы земных скорбей,
средь бездны мук и бед
восходит из души моей
слов сокровенных свет.

Как будто Псалмопевец их,
во глубине веков,
еще не пел в скорбях своих:
столь смысл их сердцу нов.

Нет, не кричу и не пою:
и песнь, и крик — я сам.
Я муку возношу свою
лишь взором к небесам.

А небеса — седым-седы...
Сей век состарил их?..
Пушинка ледяной звезды
коснулась губ моих.

И стынут слезы на глазах.
И губ не разомкнуть.
И крик «Из глубины воззвах...» —
не из груди, а в грудь...



Со всей Руси, со всех сторон
летит — в меня, в меня...
И вот не песнь, не крик, а стон
среди России — я...

* * *

Выбелив мир осенний, тучища упливает.
Над белизною — темень, хлопьев последних
лёт.

Как белизну такую темное оставляет?..
Как это тьму такую белое создает?..

* * *

Под брань ветров проснулся и лежу,
а в думах — словно по лесу кружу...
Как страшно пучат огненные очи
за окнами седые птицы ночи!..
Обманный свет... Пути не нахожу...
Как будто в этой темени ночной
все боли моей Родины больной
явились мне, слетелись к изголовью...
И стон стоит. Чем их унять?! Любовью?
Разрывом сердца? Слезною мольбой?..
Ответа нет. Есть только стон и вой.



Н

МЕТЕЛЬНЫЕ ЗВОНЫ

1

а колокольне бесколокольной
слушаю выюги посвист разбойный.
Над полусгнившим промерзшим настилом
вольная воля погибельным силам —
в пляске победной кружить, гоготать!
Как расходилась бесовская рать!
Что для нее эта высь? — в е р х о т у р а...
Как в окружении, стоя понуро,
я ощущаю тут не высоту —
только опутанность да немоту...
В мути клокочущей рта не открыть,
век в ее заверти не разлепить.
Слышу, как здесь, в вихревой вышине,
свергнутый колокол стонет во мне...

2

Дни испытанья бывают в глухи,
дни беззащитности русской души.
Выпал мне нынче один из таких —
день обмиранья, день дум горевых...
Даже и то не назвать мне случайным,
что породнился вдруг с местом печальным,
где еле держится жизни тепло,
где все тропинки давно замело...
Где средь берез — замерзающий храм...
Вскинуты ветви, что руки, к крестам...
Что тут могу я? Себя раскачать
и, под раскачку, с трудом, промычать
замкнутым, запертым выюгою ртом
только одно, здесь забытое, Б О М-М-М!..



3

Во времена не какие-то оны
знала Россия метельные звоны,
знала набатные звоны она...
Скажут: другие теперь времена.
Скажут с усмешкой, мол, экая старь —
звук твой метельный, набат и звонарь...
— Ой ли?! — отвечу. — Поднялся весь ад.
Самое время — ударить в набат,
есть, православные, есть все резоны
нам воскресить и метельные звоны!
Сколько блуждающих в дьявольской муты,
гибнущих сколько в бесовском беспутье!..
Звон-то метельный — средь мглы и клубленья —
стал бы всем гибнущим им — во спасенье!..

4

В давнее память мою унесло:
высь колокольни... степное село...
Над утонувшей в буране землей
я — малолетка — звонарь «чередной».
Звенышко я в бесконечной цепи.
Может быть, кто-нибудь гибнет в степи...
Вдруг да кого-то в буранном пути
з в о н о м м о и м и смогу я спасти...
Это из древности отроку мне
Русью завещано — не в стороне,
не в затаене, под крышней глухой,
жить средь беды и напасти любой!..
Мерно удар за ударом кладу.
Вдруг отведу от кого-то беду?!.

5

Через полвека, буранно-седой,
на колокольне стою я другой...
Ох, как томят средь ее пустоты
немочь безгласия, боль немоты!..
Все разухабистей гибельный вой,
насланный, верно, самим сатаной.
Бесов клубящихся вей-хоровей
ныне над Родиной всею моей.
Ныне в России, куда ни шагни, —
всюду пронырами рыщут они...
Если ты зряч и еще не совсем
ими запутан, запуган и нем,
как по команде, они налетят —
стаей — издергают и искосят...

6

«Помню про то, — сам себе говорю, —
первая вражья стрела — звонарю,
что в час беды не ослеп, не оглох, —
поднял над звонницей ярый сполох*...»
Кованый, в балку вцепился хомут.
Чудом каким сохранился он тут?..
Ждет он, с железным терпением ждет:
свергнутый колокол снова вплывет
в арку, слепящую радостью дня!..
Скрипнет он другу: «Заждался тут я!..»
Ну, а пока — только вихри кругом,
визги и свисты... Но что это?!.. БОМ-М-М!..
Может, послышалось в полдне седом?..
Но повторилось отчетливей: БОМ-М-М!..

* сполох — тревожный звон.



На колокольне бесколокольной
слышу вдруг благовест Первопрестольной.
Будто среди отошедших веков
грянули с о р о к е е с о р о к о в!
Грузный Ивана Великого гул
вон как клубящийся сумрак встряхнул!
Новгород ахнул. Отклинулся Псков.
Вон и владимирских колоколов
слышен малиновый звон-переклик...
Именем прежним, преславным велик,
с хором стозвонным, неслыханным в лад,
радостно Сергиев грянул Посад!
Рать богатырская. Свет куполов.
Громом ударил Великий Ростов!

О, как над всею огромной страной
заговорил басовитый Сысой!*
Вон — Ярославль возгрел. Вон — сама
возликова за ним Кострома!..
Радостный Русь затопил перезвон.
Долгим и тягостным был ее сон...
Звон-очищение. Звон-благодать.
Да неужель не восстанем опять?!.
Бодренным духом и верой святой
преодолеем диавольский вой!
Вновь, вместо гвалта, нам будет слышна
мудрая русского дня тишина.
Снова нам глянет чисто в глаза
ясного небушка синь-бирюза!

* Сысой — имя главного колокола Ростовского кремля.



H

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ...

и пристани и ни гавани,
потерян крушеньям счет.
Страна пребывает в плаванье,
народ пребывает в плаванье,
не зная: куда плывет...

ПРОЕЗДОМ...

Оглянулся, добравшись:
над вздыбленным вихрями трактом,
по которому несся ты только что,
с лязгом и громом,
в снежной пene чуть зrimый
бухтит и шумыркает трактор
(согласился тебя подождать
тракторист чуть знакомый).

Что же — слушай,
душой содрогаясь под воплями выюги.
Слушай, слушай...
Все звуки вокруг — разговор одиночеств.
Ни ду-ши, ни-ко-го
в столь родной тебе с детства округе...
Ты — последний свидетель
вдруг сбывающихся грозных пророчеств?..



Прокатил по стране
вал невиданных бед и страданий.
Скольких весей ее
нет сегодня уже и в помине...
Сколько их, вот таких,
мимолетных и скорбных свиданий
во глубинах ее разоренных
случается ныне...

Слушай, слушай,
как ноют, вздыхают воротные створы.
Слушай, слушай,
как плачут и стонут забытые двери.
Как кряхтят под порывами ветра
худые заборы,
будто с воем и визгом
когтят их незримые звери...

Вон живой огонек —
в серой заверти хлопьев и хмари?!.
Неужели оконце
вдруг ожило там, в отдаленье?!.
То — старуха-зима
по сугробам дымящимся шарит,
обходя с фонарем
позабытое всеми селенье.

Слушай, слушай,
как буря вечерняя треплет страницы
горькой книги судеб
тех, кого ты знал здесь (давно ли?).
Промелькнули средь вихрей
до боли знакомые лица...
Рыкнул трактор призываю:
минуты нет лишней для боли...



В НЕПОГОДНУЮ НОЧЬ, В НЕЗНАКОМОМ СЕЛЕ

— Эй, хозяева!.. Оглохли?!.. —
Нет ответа. Ни гу-гу.
Только ставень глухо грохнет,
как на дальнем берегу.
Только визг и стон по струнам
еле зримых проводов.
При затучном свете лунном
так поймешь вдруг слово к р о в!..
Где-нибудь сейчас укрыться,
ощутить тепло избы,
пред печуркою забыться
под звериный вой трубы...
Только всюду окна глухи,
хоть едва ль т а м крепок сон.
У хозяев «туюухих»
«не рассыпать» есть резон...
Нынче всюду бродит лихой!
Попроверь запор дверей
да и жди рассвета тихо
в малой крепостце своей...
Мысль кольнула: «Может статься —
посреди страны г л у х о й
р у с с к о м у не докричаться
до собратьев в час лихой...»



* * *

Вот враг разнес вокруг тебя ограду,
за коей ты свой мир хранил, берег.
Ты весь, как есть, открыт чужому взгляду...
Но о тебе доподлинную правду
знать может только Бог.

И эта правда не казнит, не ранит,
не убивает, но животворит.
И что пред нею ярость вражьей браны,
которой ты приговорен заране?!.
Надежен Бог и щит.

СТАРИКОВСКИЕ МЫСЛИ

Расшумелась, разглделась молодь!
Не дано покуда ей понять:
коли вовсе не о чем молчать —
не о чем, по сути, и глаголать...

Пусть себе покуда пошумит!
Сдует Жизнь словес летучих пену
и пред каждым выставит на вид
многоречью истинную цену.

ТРИШКИН КАФТАН

Я проснулся в великой печали.
Сон еще обступал, как туман:
мою душу при мне обряжали —
примеряли к ней Тришкин кафтан...

Окружали «благие советы»...
Было некуда ей отступить...
Ох, одежка суконная эта!..
Ах, сознанье: «Носить — не сносить!»



ДНИ БЫВАЮТ...

ни бывают: темный дух
вокруг тебя, что вихорь, вьется,
каждый шорох ловит слух,
ищет взгляд хоть крохи солнца.
Неурочная, вдруг ночь
наплывет со снежной тучей.
Тягости не превозмочь,
тягости — глухой, тягучей.
Нервно вздрагивает дом,
бухают над крышей взрывы,
жизнь исчезла за углом...
То не ветер за окном —
воли злой слышны порывы.
Свет оконца все мертвят,
будто зрак холодный, вражий.

.....

Зоркая душа не спит.
Зоркая душа на страже.





В

НОЧЬ СУДНАЯ

ысоких сосен разговоры
в ночи — как будто вышний суд.
Ночные совести укоры
уснуть-забыться не дают.

Средь ночи, бесконечно длинной,
тьма надо мною — словно тать.
Во всем, во всем душа повинна,
и оправданий не сыскать.

Казни себя под волчий ветер,
свивайся, скручивайся в жгут.
Один на свете не в запрете —
лишь над собою — самосуд.

Всем улюлюканьям и свистам
доступен ты средь чутких стен.
Как за окном, глядящим льдисто,
 полночной тучи страшен крен!..

Вон — огонечка взгляд упорный
под черной нависью ее:
как будто выставлен дозорный —
стеречь мучение твое.

Не оправдать себя в ответе
и боли стоном не помочь.
Но! Слава Богу: русский ветер
и русская с тобою ночь!..



В

В БУРАННЫЙ ЧАС...

буранный час к окну ночному,
к стеклу морозному прилип:
привычная, столь незнакомо
чернеется куртина лип.
Им, свитым буреломной выюгой
(сколь злая ни лиха беда), —
не оторваться друг от друга,
не разбежаться — кто куда...
Крепки последние объятья.
Порывы сучьев и ветвей.

Ох, это чувство: гибнут братья,
а ты — притих в норе своей!..

* * *

В кинохронике тех лет,
что у века на рассвете,
все спешат, бегут, как дети,
так смешно, что спасу нет.
Те — толпой — за самолетом,
те — за трактором, а те —
тоже догоняют что-то
в легковерной простоте...

Век — к концу. Мы — повзросли. Не мечталось и Емеле
о таком, что ныне есть!
Техники (любой!) — не счесть!
Наступает нам на пятки
громыхающий прогресс,
в пору мчаться без оглядки
ото всех его чудес...





П

ОДНОМУ САТИРИКУ-СОВРЕМЕННИКУ

За составление сатиры сочинитель ее
будет подвергнут злейшим истязаниям.

Указ Петра Великого

редставились мне времена Петра
и ты, сатириком себя зовущий...
Ты — схвачен!..
Впрочем, тут же и отпущен...
Ты избежал кнута и топора.
«Ступай, ступай, — тебе сказали, —
с миром!
Царев указ не про таких пока:
за составление твоей сатиры
достоин ты не казни, а — пинка!..»

* * *

«Э! Козел!» — «Ты сам козел!»
И пошли они, поехали!
Треск рогов такой пошел!..
Впрочем, люди, тут до смеха ли?!

Злые шутки шутит век.
Злы его «кликухи», прозвища.
Страшен, страшен человек,
обдающий смрадом козлища.



Г

* * *

оворим все о том,
что едва ль и достойно вниманья,
в чем души не расслышишь,
судьбы ни за что не найдешь.
Мы ведем разговор,
означающий наше молчанье
о тревогах своих,
разговор, означающий ложь...

И как будто не знаем
и знать не желаем об этом,
чехардою, игрою словесною
увлечены...
Или нам не держать
перед совестью нашей ответа?..
Или нам не называть
леденящего чувства вины?..

Эта легкость словес...
Как игра в поддавки. Вот — засели,
завели говорильню, раздули ее...
Только вдруг...
Вдруг в себе ощущишь
пустодумство и прыть пустомели...
И, мгновенно прозрев,
как впервые, посмотришь вокруг...

И увидишь себя
в окруженье других празднословов.
Вздор словесный кружит,
что базарный развихренный сор...
Мир тревожный глядит
на тебя так укорно-сурово...
И сожмешься, и сникнешь
от этого взгляда в упор...



В

* * *

час беспросветной пурги
слышу во тьме непогодной:
«Выведи! Помоги!
Свет засвети путеводный!..»
Под несмолкающий вой,
в муты, уже предрассветной,
бьется в окно, чуть живой,
чей-то призыв безответный...

Утречком глянул на мир:
над золотыми снегами —
света невиданный пир,
неба всесветное пламя!
Экая благость и тиши!
Веет покоем великим.
Видно, почудились лишь
чье-то погибели крики...

В ярком сиянии дня,
из ослепительной дали,
кто-то глядит на меня,
полный укорной печали...
Блещет углаженный снег.
Шепот, с поземкой, подкрался:
«Эх, человек, человек!..
Звал я тебя... Не дозвался...»



К

* * *

рик дурашный: «Жми на все педали!»
Пылью, чадом, ревом обдало.
Вон они — два олуха — помчали
«за водярой» в ближнее село.
День им дан — блаженство и сиянье!
Только Божий дар им — ни к чему:
поскорей бы погасить сознанье,
погрузиться в дьявольскую тьму...

* * *

Был человек. И — нет.
Была душа. Не стало...
Глядит на белый свет
отсутствие устало.
Из черной пустоты,
из выжженной утробы —
слова нечистоты,
слова звериной злобы...
О, сколько их — людей,
забывших свое имя!..
Плач Родины моей...
Так что ж творится с ними?!.
Куда их всех несет,
в какую прорву-бездну?!.
Порви хоть в крике рот —
не внемлют... Бесполезно...





К

ВЗГЛЯД

ак порох ждет огня,
как крови ждет булат,
так, знаю, ждет меня
твой беспощадный взгляд.

Ох, как он полыхнет,
как изострится вмиг,
едва меня найдет!..
Не взгляд, а злобы крик...

От Каиновых дней
он с нами — этот взгляд.
Да сгинет он во мне,
не возвратясь назад...

ПАМЯТИ ДВУХ УБИЕННЫХ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПОЭТОВ

Не бывает у убийц осечки.
В страшный миг не дрогнет их рука.
Побывал я и на Черной речке,
был и у подножья Машука.

В скорби русской видел ваши лица
над сияньем горьких двух могил.
Ни один из вас не стал убийцей.
Знаю, верю: Бог не попустил.



В

С НАТУРЫ

от — человек: живет с самим собой
так путанно, непросто, будто в споре.
С самим собой ведет давнишний бой.
Сражается! Себе же и на горе!..
Над ежиком седеющих волос —
дотошности, как свяности, сиянье.
А в остреньких зрачках — немой вопрос,
неведомо чего в них ожиданье.
И сжаты на коленях кулаки,
и, выдавая все его боренья,
на бледных скулах пляшут желваки
(чему-то в нем идет сопротивленье?)...
И, надо думать, даже средь ночей
в его душе — баталии и сшибки!
Ни отдыха и ни покоя ей:
сомнения, терзания, ошибки!..

А вот — другой. Полнейший антипод
он — первому. Улыбкой так и светит!
В согласии с самим собой живет,
в согласии со всем на белом свете!
Глазеет он, младенца безответней,
на мир, сквозящий синью грозовой...
Скрестить бы две оливковые ветви
над этой розоватой головой!..



Приму обоих. В каждом жизнь жива,
какая там ни есть, жива натура!..
Но... третьего гранитная фигура...
Но... третьего литая голова...

Нет, не приму я скаредности лиц,
которая сама собой кичится,
когда в глазах, как в глубине бойниц,
одна лишь настороженность таится,
когда душа и мысли — взаперти,
когда слова — что ледяные глыбы...
Такому как улыбкой ни свети,
он смотрит на тебя скучнее рыбы.
Он не покинет крепости своей —
в самом себе до смерти отсидится.
С годами мне, пожалуй, все видней:
на крыльях вечно сдвинутых бровей
парят несуществующие лица.

* * *

Вражды житейской тесен круг.
Его не разомкнуть никак.
«Враг твоего врага — твой друг.
Друг твоего врага — твой враг...»
И, как всегда, — один конец,
один исход, один итог:
с глупцами стакнется глупец,
а мудрый — снова одинок...



В

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

час метельный на дороге
повстречался человек,
глянул на меня в тревоге —
сквозь летящий косо снег.
И сошлись два наших взгляда
среди мглы и белизны...
Что ж душа душе не рада?!.
Улыбнуться бы должны,
хоть на миг остановиться,
слово доброе сказать!..
Отчуждение на лицах,
будто татя встретил тать...
Разминулись мы, и снова
пусты впереди поля...
Знай шагай без остановок!..
Что ж оглядываюсь я?..
Вон — он виден еле-еле...
Вот — исчез он без следа...
Растворились мы в метели
друг для друга навсегда...
Что нас гонит? Что торопит?
Что за спешка нам дана?..

Предо мной — стена из хлопьев.
Та же и пред ним стена...





САНОВНИКИ В ХРАМЕ

два качнутся кочаны и дыни
головушек... Ну как же! Они — власть!
Полукивок, отвешенный в гордыне
Тому, Кому бы в ноги надо пасть...
И умолять, рыдая, о прощенье,
и душу сотрясти рыданьем... Но...
и в «дни приема» Божье посещенье
им, облеченный властью, не нужно...
Они глядят поверх и как бы мимо.
Им не родня — молящийся народ.
Во тьме гордыни этой несветимой
их, видно, Божье слово не прожжет...
Уст для молитвы тихой не отверстъ им.
Себя в себе им — не переломить.
Себя им православным троеперстъем
свободно и легко не осенить...
Не страшен им грядущий день расплаты,
который всем нам станет СУДНЫМ
ДНЕМ,
где царь и воин, нищий и богатый —
предстанут все в достоинстве одном...
Ни пред Крестом они, ни пред потиром
не склонят во смирении голов.
Энергия безумцев правит миром,
во зле лежащим, воля гордецов...



* * *

пять как будто голоса...
Проймет меня до вздрога
сквозь оскудевшие леса
текущая дорога.

Невнятный ропот многоуст,
и справа он, и слева...
Похоже: стонет каждый куст,
кряхтит любое древо...

Похоже: здесь всему невмочь
от беспросветной скорби.
Мое ж бессиление помочь
меня до срока сгорбит...

Беды, беды на всем печать,
беды непроходимой.
Тут в пору — только простенать
со всей страной родимой.

Но что я?!. Господи, прости
мне эту слабость! Или
Россию горькие пути
к Тебе не приводили?!





К

* * *

ак легко разлучиться
с тенью собственной птице!
Лишь крылатым такое дано...
Вот бы с тем, что тревожно,
так же было возможно
мне расстаться когда-нибудь...

Но!..

Слава Богу, что н е д а н о!

* * *

Словами уже никого не проймешь.
С л о в а м и -то — да. Но коль — СЛОВОМ,
в котором не хитрость, не тонкая ложь,
в котором души твоей мука и дрожь,
спасительным вечно и новым?!.



Б

БУДЕМ ЖИТЬ!

удет все впереди:
грады и буреломы,
и снега, и дожди,
будут молнии-громы...
Через все «не могу»
будем жить! Не завянем!
А согнет коль в дугу,
что же... радугой станем!

* * *

Над округой зависший снег.
Сказка ангела. Божья сага.
Тише тени прошел человек.
Робко тявкнула где-то дворняга.

Прошепталось вдруг: «Боже мой!
Из руки Твоей — эти мгновенья.
Положи в меня белый покой
мной забытого отдохновенья...»



ТИХИЕ ПРИЮТЫ



В

* * *

небе осеннем открылось окно голубое
с тихой и кроткой вечернею искрой-звездой.
Как замирает душа в леденящем покое,
будто край жизни открылся вдали предо
мной.

Как я тянулся всегда к этой искорке Божьей,
что предо мною мерцает средь голых ветвей!
О, как дрожала она над глухим бездорожьем
ранней, далкой, израненной жизни моей!..

Сердце ответно трепещет на трепеты эти:
дивным, блаженным блистанием я не забыт!
Это звезда невозвратно ушедшего светит.
Это звезда моей будущей жизни горит.





Я

СЕВЕРНЫЙ СОН

I

набродился средь тронутых инеем кочек,
я надышался колодезным духом зыбей.
Рано у нас в октябре начинаются ночи,
так что пораньше вернуться к дороге — верней.

Вышел на твердую землю. Взошел на пригородок.
Сел под сосною, чтоб было болото видно —
с дальными гарями, с синью далекого бора...
Воздух трезвенек, а, надо ж, — пьянил, как вино.

Веки смежил. То ли сон, то ли просто дремота...
Не под сосною сижу, а на лодке плыву.
В каплях рубиновых блеклая зелень болота
передо мною качается — как наяву...

Знаю: так будет и после — уже среди ночи,
пред засыпаньем в домашнем уюте-тепле:
все будут видеться заиндевелые кочки,
ягоды будут гореть, словно угли в золе...





II

Надо б идти, поспешать, да никак не расстаться
с этим пригорком. Щекою прижался к сосне.
Любобезмолвного,* кроткого, тихого старца
светлая кротость болота открыла во мне.

Право же, здесь — в уголке этом мглистом и тихом —
облюбовать бы замшелый сухой бугорок
да и зажить — Бога ради — молчальником-мнихом...
Может, вот тут, где сижу, и срубить бы скиток...

Будет одна лишь молитва моей заботой
в неторопливости благостной дней и ночей.
Люди по клюкву приедут, придут на болото,
буду я с ними — в смиренной молитве моей.

Сколько по Северу, в поисках сладкой *пустыни*,
некогда шло дивных иноков! Бог лишь сочтет!
Не воскресить мне пути их, забытые ныне:
время — не то, а вернее же — сам я не тот...

* любобезмолвного (стар.) — любящего безмолвие.



III

Лишь шевельнулась в душе неугасшая искра...
Пламя не вспыхнет. Увы. Не зажгутся огни...
Быть, оставаться мне суетным данником мира...
Ладно еще, что случаются оклики-дни...

«Господи! Господи! — шепот от губ отлетает
с теплым дыханьем (едва ли дыханья слышней). —
Эта земля, что дана нам Тобою, — святая.
Как же нам свято и жить-то бы надо на ней!..

Господи! Господи! Ты приоткрыл мне простое,
ясное, чистое — в северной этой глуши:
ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ ОКУПИТСЯ ТОЛЬКО ПОКОЕМ,
ТОЛЬКО ПОКОЕМ МОЛИТВЕННОЙ КРОТКОЙ ДУШИ...»

Вон — вдалеке, где грустит озерцо средь болота
(с ним я сегодня встречался глазами не раз),
дымчатый лучик коснулся воды позолотой,
вспыхнул неярко и тут же смиленно угас...





IV

Словно бы высшее думы моей подтвержденье
в лучике этом мне только что было дано...
Как все вокруг озарило святое мгновенье!
Чудо какое во мне совершило оно!

Я тишины даже вздохом одним не нарушу.
Может, впервые я так вот узнал-угадал:
как Русский Север войти может в русскую душу!..
Верно, Господь для него лишь ее и создал...

Чтобы любить кому было потусклые дали,
было кому взять в себя эту всю благодать,
чтобы морозную мжичку вечерней печали
было кому (да как следует!) в сердце принять.

Чтобы всему было найдено русское имя —
каждой полянке, болотинке иль бочагу...
Как все когда-то предтечами всеми моими
названо было — в широком их жизни кругу!



V

Вроде бы в неком ином, мне неведомом, свете
все вдруг увиделось... Я разглядел: в стороне —
ворон — обугленный житель последних столетий —
молча сидит на коснеющей мертвый сосне...

Стар он, что Аред. Стара, что Кощевна, сухара.
Намертво лапы вцепились в замшелый сучок.
Пожил сей ворон! Я думаю: ворон нестарый
так бы молчать и сидеть недвижимо не смог.

Я, по годам, не старик перед ним, а — ребенок.
Вместе с сосной этой, верно, состарился он.
Вскаркнет, поди-ко, разок за полвека, спросонок,
да и опять погрузится в раздумие-сон...

Может, такая-то жизнь — есть само совершенство?..
Там, в вышине, на суху, и найдет его смерть...
Ну, а пока... чем, скажи-ка, ему не блаженство —
это болото всегда пред очами иметь?!





VI

С месяц прожить бы в таком созерцанье
счастливом!..
Ворон качнул головой, мол, оно — не для вас...
Что за веселые птахи, в полете нырливом,
там вон — средь елей густых — промелькнули
сейчас?..

Не снегири, так какие-нибудь свирепители...
Словно напомнил мне их беззаботный пролет:
там, среди мхов, убегая за темные ели,
светлопесчаная тропка давно уж к дороге зовет...

Снова закинута за спину плотная ноша.
Вот и окончился день, столь похожий на сон...
Я улыбаюсь болоту: «До первой пороши!
Может, приду еще — к кочкам твоим на поклон...»

И — в путь-дорогу! Уже различаю неясно
за колоннадами сосен его озерцо.
Вот и оно, подмигнув на прощанье, угасло...
Я ж все иду, спотыкаясь, назад обративши лицо...



ДЕРЕВНЯ РОДИНА

Ервопоселенцы не мудрили —
РОДИНОЙ назвали свою весь.
Дескать, где свой корень утвердили,
тут вот она, родина, и есть.
Родина... Не хутор, не деревня:
в ней — всего с полдюжины дворов.
Всех дождей осенняя плачевня
и тужильня темных вечеров...
Клонится к земле дымок над крышей.
Жмурился, сквозь дождик, огонек.
Ветвь рябины горькой чуть колышет
надо мной промозглый вихорек...
Я, среди осенней непогоды,
прикрывая от нее лицо,
здесь остановился мимоходом —
по пути в соседнее сельцо.
Вон оно — за речкой, на увале,
тоже — с одиноким огоньком,
так же дым там клонится в печали...
То сельцо зовется Горельцом.
Сколько там — за ним — таких же весей
(только и совсем уж неживых)!..
Имена их, Господи, ты веси,*
люди же давно забыли их...
И вот этой малой деревеньки,
лицом обращенной на восход,
неужели тоже в этом веке
имя, столь святое, пропадет?!.

* веси (церк.-слав.) — знаешь.



Пропадет, как эта вот часовня,
павшая в репейники главой?..
День однажды здесь зевнет спросонья
над безбрежной мертвотой —
и покатит солнышко впустую,
зря кукушек по лесам будя...
Покидаю эту, чуть живую,
деревеньку, под шумок дождя.
И губами скорбными моими,
посреди заброшенных полей,
шепчет вечер веси этой имя —
имя всей родной земли моей...

д.Родина,
Парфеньевский район

ЗАРОСЛО...

Заросшие ивами пожни.
Дороги былой не видать...
Ишь, лекарь какой — подорожник,
поднявшийся войску под стать!

Ни рытвин под ним, ни колдобин.
Поди — отыщи колеи!..
И вихрь вон — сторонкой обходит
былые владенья свои...

Целебные травы забвенья...
В печали над вами склонюсь:
да минет сие «исцеленье»
покрытую ранами Русь!..



ПОСЛЕ НОЧЛЕГА В ЗАКОЛОЧЕННОМ ДОМЕ

тот ночлег в заколоченном доме,
как на костре — на трещащей соломе...
Еле дождался тебя я, рассвет.
Что простонали мне стены вослед?..
В сенцы шагнул и в пробоинах крыши
шепот холодный свистящий рассыпал,
хриплые окрики в них воронья...
«Это меня — они?!..» — «Верно — меня...»
Что раскружились они спозаранку?..
Рваных закраин топорщится дранка...
Что я на крик их ответить могу —
в мертвотой округе, в мертвом кругу?!..

У ЛЕСНОГО ОЗЕРА НА ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Напролом — по буераку —
на холодный свет зари!
Страха нет во мне перед мраком.
От ходьбы лицо горит.

Будто мантию монашью,
лес внезапно развел:
рада моему бесстрашью
сталь кольчужная светло!



Русский край. Взглянуть — смиренен.
Но... не рябь озерных вод —
стали боевой горенье
вдруг пред взором полыхнет.

До поры живет он мнихом.
Но, под черным клобуком,
вдруг во дне тревожно-тихом
боевой сверкнет шелом...

* * *

Птичьи следы на сырому песке,
сзади — моих цепочка.
Чайки рыдают. К этой тоске
счастье — прийти в одиночку.

Вот тебе (пусть не гусиное, но —
чистое, снега белее)
чайкой оброненное перо!
Берег — листа ровнее!

Выразить, высказать поспеши
влажного утра с л о в о,
что через отклик твоей души
песнею стать готово!

И не печалься о гибели строк:
детской сочтя их игрою,
мимо пронесшийся катерок
тут же их смыв волною...



ОСЕННИЙ ДЕНЬ НА ПОКШЕ

ежать в стогу, и — взором ввысь —
молиться,
под затухающий прощальный клик
чуть видимой отлетной вереницы,
и помнить: драгоценен каждый миг...

Просторен и печален день короткий.
И тают, как снежинки, на губах,
как на воде осенней отблеск кроткий,
слова псалма: «Из глубины воззвах...»

Из глубины настуженной низины?
Из глубины измученной страны?
Из глубины... Не все ли тут едино?!.
Одно лишь знаю, что — и з г л у б и н ы...

Из глубины такой, в которой Русью
живет и дышит свято миг любой.
Из глубины душа восходит грустью,
как свет над светом, — над самой собой.

Вон — в стороне — такое же сиянье:
за умброй и охрой золотой
кустов прибрежных светом-полыханьем
река восходит над самой собой.

О чём мое немое воззыванье?
Лишь об одном оно, лишь об одном:
чтоб длилось, длилось это состоянье —
сном наяву, печальным светлым сном!..



Все из глубин, из глубей потаенных
к Тебе взывает, Господи, вокруг.
Сам над собой, дождями омовенный,
сиянием парит прибрежный луг.

Чу! Что за звон послышался над полем?!.
Почудилось... В округе этой всей
остались от церквей и колоколен
лишь силуэты — неба чуть светлей.

Безмолвна высь. Не слышно больше
клика.
Вон — прочерком над изгорбью полей —
едва видна тропинка-паутинка...
Путь журавлинный — неба чуть светлей...
Пора и мне — к моим путям-дорогам,
к юдоли человеческой моей...
Уйду. Но тут останется, над стогом,
мой силуэт, что неба чуть светлей...

ДОМА...

По осенней, коренной,
по России разоренной,
с замиранием: домой!..
И — с тревогой затаенной.

Полумертвое село.
Кисели дорог знакомых.
Наконец пахнуло домом.
Дверь вздохнула тяжело.

Чистота. Покой... Стою.
Ходики стучат негромко.
Дом — у бездны на краю
замечтавшийся мальчонка...



«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

оздний час. Почти предночье.
Неводок вороньей стаи
над раздетой мокрой рощей
то возникнет, то растает...
Нет покоя стае враньей.
Взгляд осеннего простора —
взгляд немого ожиданья,
взгляд печали и укора.
Тяжко мне под этим взглядом,
обдающим неприветом.
Где-то мы не там, где надо,
оказались в веке этом...
Накрутила, намутила
так, что не хватает стону,
дьявольская, вражья сила
и не знает угомону.
Враний ор и чернокрылый
шум — над самой головою.
«Господи! Спаси-помилуй!
Чем я Родину прикрою?!..»

Небо — гвалт орущей черни.
Смутной памятью о солнце
врос огонь зари вечерней
в око дальнего оконца.
И его хватило вмале* —
средь короткого бездождя.
«Утоли моя печали,
Пресвятая Матерь Божья!..»

* вмале (перк.-слав.) — на короткое время.



«Утоли!» — мой вздох взлетает.
«Утоли!» — мне вторит роща,
под клублением черной стаи
ветви черные топорща.
Вдруг такой прощально-жгучий
свет открывшийся заката
полыхнул под низкой тучей —
все мгновенно стало свято!
Небеса себя явили,
словно бы восстав из пепла, —
в полной славе, в полной силе!
(Чтоб душа во мне окрепла?)

Мокрые заборы, стены
не дождем омыты — счастьем!
Все вдруг вырвалось из плена
многодневного ненастя.
Весь в огнях и вспышках вечер.
Отовсюду — шепот света.
На каком еще наречье
выразима радость эта?!

Бот она и снова с нами —
миру Божьему открытость,
под холодными дождями
лиц и душ самих омытость!
В сердце — свет зажегся тайный.
Мыслей-дум чреда святая.
И свечою поминальной
память теплится живая.
Снова тучи свет застлали.
Глуше сумрак и тревожней...
«Утоли моя печали,
Пресвятая Матерь Божья!...»

Тем светлее память-святцы,
чем темнее непогода.
Время с мыслями собраться
всей Руси, всему народу!
Вспомнить многое нам надо
и понять среди несчастий:
лишь церковная ограда
оградит нас от напастей.
Вон он — храм — корабль спасенья —
в гавани е е надежной:
ждет великого прозренья
твоего, собрат безбожный.
Ждет он! Парусами — стены,
мачтой крепкой — колокольня!
В путь! Из дьявольского плена —
в радость Царствия Господня!
В добрый путь, собрат прозревший, —
от бездущья, от безглавья!
Все омоет ветер свежий
под крестами ПРАВОСЛАВЬЯ!

* * *

Хилая осенняя погодка.
Дождь и снег. И снова — дождь и снег.
Хоть бы соврала метеосводка —
чтоб приободрился человек!..
Капли приударили горохом.
Приказку мне память повторила:
«Что тут скажешь? Плохо, брат Тереха...
Дело гнило. Так-то, брат Данила!..»
Но подкрался шепоток, с участием,
с уговором: «Не кручинься, милый!
Мало ли деньков погожих было?!.
Обживай, осваивай ненастье...»





В

ВЕРНУЛСЯ...

ернулся из мглы перелесков, из грусти
безднодных проселков, тоски полевой,
омытый осенним сырьим захолустьем,
почти бестелесный, с душою нагой.
И с чуткостью дикой встревоженной птицы
на все откликаюсь, на шорох любой.
Вдруг дождичек тихо в окно постучится:
вчерашний знакомый явился за мной...
Вдруг форточка грохнет, и — вверх занавеска!..
Порывистый Сиверко. Сколько в нем сил!
О красной рябине среди перелеска
в домашнем тепле мне напомнить решил,
о пламени, вдруг охватившем излуку, —
о белом, почти нестерпимом огне...
То горькую радость, то сладкую муку
знакомцы мои воскрешают во мне.
О, эти осенние связи меж нами!..
Как будто души моей образ живой —
последнего листика кроткое пламя
дрожит предо мною над веткой нагой.
И в каждом его трепетанье и вздроге —
мольба моя к осени: «Не угаси
пронзительной этой любви и тревоги,
быть может, последней уже на Руси!..»



ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ, ПОД ПРОЛЕТАЮЩИМ САМОЛЕТОМ

Хлест дождя — по стеклу. Но, ознобом, в меня он проник.
Перекрестье рамы оконной угадано мукой взгляда:
кто там, кто там к окошку ночному снаружи приник?..
То — душа потерявшего все, до листочка, осеннего сада?..

Набежали из мрака сырого слепые лучи.
Голых черных ветвей по стене проплыла плетеница.
Чу! Послышился гул поднебесный в кромешной ночи:
высоко надо мной держит курс реактивная птица...

Сколько в этих стенаньях ее неизбывной тоски!..
Что так долго томит она слух мой натужливым воем?..
Иль теперь и небесных дорог колеи глубоки,
и не счасть там, за тучами, всех киселей и промоин?..

И под этот надсадный, хватающий за сердце вой
странно вспомнилось вдруг мне, лежащему в теплом
укромье:
было время — и я пролетал высоко-высоко над землей,
средь таких вот ночей, все доверив пилоту и дреме...

Отлетался. Отплывался. «Посохом» я отболел.
Мне дорога одна лишь воистину ныне желанна:
напоследок уже — во Святой побывать бы земле,
к Галилейскому морю прийти, погрузиться в струи
Иордана...

Ныне время — молиться о тех, кто летит и плывет,
кто иль «в море далече», иль в небе несется «средь нощи».
Ныне время — молиться за весь мой усталый народ:
год от году дороги его — все страшней, все непроще...





В

ВЕТЕР С СЕВЕРА Триптих

1

Ветер с Севера. Гость суровый.
Дух свободы в тебе ледовый.
Даль — смотри — нараспах раскрыта!
Неба краешек ледовито
над осенним горит простором.
Пламя ясное перед взором
разрастается шире, выше!
Мир из спячки ненастя вышел,
из осенней мглы-заморочки.
Под ногою — ледок да кочки.
Что ни шаг — то гул колокольный!
Ветер с Севера! Ветер вольный!
Здравствуй! Здравствуй, посол незримый
от Савватия и Зосимы*,
от литых валунов Поморья,
где шумишь ты, волну буторя,
от архангельских, вологодских
окоемов, что зрят по-флотски,
как бы с вечным прищуром цепким...
Все ты обнял объятьем крепким.
Слыши хор голосов суровых
с шумом северных гриб сосновых.

* Преподобные Савватий и Зосима — основатели Соловецкого монастыря. Почитаются как покровители охотников и рыболовов, промышляющих в северных морях.

2

Ветер с Севера. Гость крылатый,
сколь чудесны твои накаты!
Сколько раз мне твое вторжение
оставляло преображенье!
Сколько раз мне оно дарило
ощущение воли и силы!
И шепчу я, как перед битвой,
то, что стало во мне молитвой:
«Ветер, ветер Руси осенний!
Стань, могучий, ее спасеньем!
Пусть повсюду, под каждой крышей
будет крепкий твой зов услышан!
Много нынче тоски-тревоги
и незнанья пути-дороги...
Русь забыла святую вечность...
Пусть беспечный стражнет беспечность,
пусть бесмысленный смысл обрящет,
слеподушный же станет зрячим.
Пусть бессильный вдохнет твою крепость,
а безбожный поймет нелепость —
живь в плену у диавола-змия...
Надо вспомнить нам: МЫ — РОССИЯ!»

3

Ветер с Севера. Вестник света.
В дом вхожу я, хмельной от ветра.
К стирке сняты все занавески.
Млеют окна в сиянье-блеске.
Все слепит чистотой корабельной,
дышишт радостью беспределной.
Ну, жена, — молодец! Подгадала —
сделать так, чтобы ничто не мешало
затопить нашу горенку светом!



Со стариным простым заветом
мы с тобой хорошо знакомы:
«От хозяина пахло чтоб ветром,
от хозяйки же — теплым домом!..»
Вот он — русский святой порядок:
миротворны огни лампадок,
и иконы — в сиянии жмурком,
и постреливает печурка
угольками (знать, жди мороза!)...
Грех сказать тут: «Житейская проза».
Грех смотреть тут печально-снуло.
Грех стоять у порога сутуло.
Вон как с Севера завернуло!..

ИЗ МОТИВОВ ДОЖДЛИВОГО ДНЯ

Половица скрипнет в сенях,
и пошарит рука по стене...
Испытала мгновенный страх.
Чутко сердце замрет во мне...

Дверь ударит — вздохнет изба.
Вздрогнут капли на гостье моей.
«Здравствуй! Я ведь — ТВОЯ СУДЬБА!..»
«Здравствуй!..» — тихо отвечу ей.

А за окнами — листьев дрожь.
Шум дождя — во сне, наяву?..
«Ну так как, расскажи, живешь?..»
Разведу руками: «Живу...»

«Проходи, — скажу, — посиди,
посумерничай среди дня...
Да открай мне: что впереди
ожидает, СУДЬБА, меня...»

Усмехнется: «Уж больно скор!..»
Сядет рядышком, у окна,
будет долго смотреть на двор
с затаенной улыбкой она.

Дескать, ты, родной, подожди!
Что тебе в раскладке моей?!
Вот скуннут этот мир дожди —
самому все станет ясней!..

Мне припасть бы к ее плечу
и поведать ей об одном:
«Я поверить, СУДЬБА, хочу
в утро светлое за окном!..

От тревоги мечта слаба,
от предчувствий душой продрог...»
Ничего не скажет СУДЬБА,
лишь вздохнет и — опять за порог!

Тонкий запах сырых полей
от намокших ее одежд
обернется в груди моей
горьким вздохом былых надежд.

Долго буду глядеть ей вслед.
Побредет по лужам она,
превращаясь в манящий свет,
в путеводный знакомый свет...

Чтоб дорога была видна.





К

РУССКИЕ МЕЧТЫ

огда ни сеять, ни косить,
и день — как на погосте,
чего у осени просить?
Чего?.. Пожалуй — гостя.
Нет, не соседа-куряка,
с пыхтеньем да кряхтеньем,
забредшего для пустяка!..
Такого! — чтоб издалека,
чтоб речь — как реченька, легка —
дразнила утоленьем!
Чтоб было разного всего —
с три короба и боле!
Чтоб гость для сердца моего
был ветром с вольной воли!
Глядишь, среди словесных пряж,
конца которым нету,
и самого прохватит блажь —
поколесить по свету!..



Д

ПЕРЕД ПРОЯСНЕНИЕМ

овольно-ка вянуть в тепле да на лужи
смотреть сквозь туманные стекла окна.
Вон сжатое поле в предчувствии стужи
щетинится, вон и дорога видна...

Шагнуть за порог и как будто очнуться
от тусклых домашних раздумий, а там —
дать светом и волей глазам захлебнуться,
как лужам сияющим и колеям!

По следу ушедшего мокропогодья
вечерняя дума тебя поведет.
Над темным пригорком зари красноводье,
как в юности давней, лицо оплеснет.

Там — в крепком, настуженном северном
ветре,
средь пахнущей морем осенней земли —
душа, холдея, чудесно окрепнет,
и мысль прояснеет, как небо вдали.





В

ТИХИЕ ПРИЮТЫ

о дни скорбей, во дни душевной смути,
когда и взгляда к небу не поднять,
Русь нас уводит в тихие приюты,
где обитает Божья благодать.
Не белый храм, так рощица сквозная
свет над тобою кроткий вознесет,
молитвой иль безмолвьем растопляя
в тебе твой дух остынувший, твой лед.
И вдруг поймешь: весь мир родной намолен,
и к Господу открыта всюду высь.
Средь леса ли, среди ли чиста поля
смиренно на колени опустись.
Весь Божий мир — любви небесной волны,
на всем вокруг горит ее печать,
во всем, во всем один наказ безмолвный —
не сокрушаться и не унывать!
И ты невольно затаишь дыханье
и ощutiшь вдруг в этот миг святой:
все ищет — перелить в тебя сиянье,
в тебя — свое вниманье, свой покой...
И в этом вот осеннем предвечерье
из стылости осенних тяжких туч
небесного окошечка свеченье
тебе послало свой прощальный луч.
Не просто луч — улыбку ободренья.
Взгляни, взгляни на эти огоньки —
на это благодарное горенье
надолго замерзающей реки!..
Порадуйся, порадуйся ответно:
завалы туч твоих пройдя насквозь,
такое же окошечко приветно
в тебе самом затеплилось, зажглось.



Р

МОЕМУ АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

анняя память.
Как свет сквозь чуть зrimые щели:
еле пробрежит.
Но первое в памяти ранней —
тихое веянье
возле моей колыбели,
облачный взлет надо мной
охраняющих дланей.

Детская вера.
Кладбищенской церковки стены.
Луч из подкуполья,
в детскую душу летящий.
Как ты желал уберечь ее,
Ангел, от плена
дольнего мира,
от всей его тины грязнящей!

Помню: к крестам надмогильным
и мраморным плитам
я прикасался,
в недетском раздумье их гладил.
Тайна великая двери,
до срока закрытой...
Как ощущал я
т в о е замирание сзади!..



Жить предстояло.
И дверь распахнулась иная —
в мир, где безбожье
глумилось над верой святою.
Детская вера моя...
Огонек, что горит, убывая...
Был он растоптан
безверья чугунной пятою...

Сколько же слез
надо мною, грешнейшим, ты пролил,
Ангел мой светлый,
заступник мой и охранитель!
Сколько пришлось
за меня тебе вынести боли!
Я не достоин
войти с тобой в Божью обитель...

Водами с круч,
посреди помутненья и мрака,
дни мои многие
в бездны греха низвергались.
Ты не оставил меня
в этих безднах, однако.
Вместе, вдвоем
средь погибельных пастей скитались.

Только о том,
в слепоте своей, я и не ведал.
Ныне ж — едва лишь помыслию —
проймет содроганье:
скольким не дал ты случиться
в судьбе моей бедам,
скольким безумствам
не отдал меня на закланье!..

Как беспризорника горького,
к дому родному
ныне ведешь меня, Ангеле,
радостно-светел.
Ждать впереди я могу
только молний и грому.
Ты ж — утешаешь:
«Возрадуйся: порваны сети!...»

Кроткий мой!
Я утешений твоих не достоин.
Весь пред тобою я —
плач и надрыв покаянный:
сколько залатывать ныне
прорех и пробоин
надобно мне,
вновь прозревшему берег желанный!..

* * *

Жизнь... Меня ты уводила
в дальние пути,
в них не раз такое было:
душу — не спасти...
Но на самой крайней грани —
вдруг — к спасенью ключ,
словно солнце вдруг проглянет
между черных туч.
Среди темени бездонной
вдруг увижу я
света круг в ночи бессонной,
в нем — моя семья:
дочка, сын, жена устало
никнет над шитьем...
Сколько раз меня спасало
знание: есть дом...





* * *

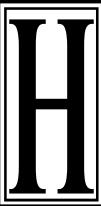
т свет от облака на' поле
пал ледяной сединой.
Где-то, над дивным Неаполем,
небо цветет бирюзой.
Взгляду там — только разнежиться.
Но никогда, никогда
в сердце там так вот не врежется
лучиком тонким звезда,
так вот, средь часа вечернего,
при угасанье зари,
сжатого поля свечение
душу не озарит...

ЛЕГКИЙ ДЕНЬ

Свет молочный дня седого.
Солнца смутное пятно.
Из сияния кружевного
все вокруг сотворено.

Хлопьев легкие завесы.
Кучерявые дымки.
Нынче все пути — небесны,
все-то мысли — глубоки.

Никакого грома-шума.
Тиховейность. Благодать.
Можно жизнь свою обдумать.
Сокровенное понять.



СОБИРАЮСЬ РУБИТЬ БАНЮ

а воле погода — по времени года.
Ну что ж — снарядимся по ней!
Тут лучше одежка простого народа —
без всяких нелепых затей.
Сойдут телогрейка да шапка-ушанка.
Потуже затянем ремень.
Махать топором — это вам не гулянка!
Дай, Господи, добрый мне день!
Пристукнуть осталось слегка кирзачами:
тепло и удобно ногам.
Топорное лезо сверкнуло лучами:
«Не баньку срубить бы, а храм!..»
«Куда нам! — шучу. — Вишь, на что
замахнулось!

Не те нам таланты даны...»
Но чувствую, как отвалилась сутулость
пластом снеговым от спины.
И дверь отворяю я с бодренным духом.
Морозно вздохнуло крыльцо.
И веет холодным щекочущим пухом
студеное утро в лицо.





ПОД СЕТЬЮ

Посвящается Маше Сергеевой

олочная ферма.

Концлагерь несчастных буренок.
Тут звякают цепи,
да слышится мат-перемат,
в котором искусен кормач,
что с похмелья —
всегда как спросонок.
Доярки, увы,
не отстать от него норовят...

А ты — в этот ад
залетевшая светлая птаха,
на время оставив его,
в призабытье стоишь у ворот.
Здесь ветер полощет
нагие березы с размаха,
слезу вышибает
и вихри над крышею вьет.

Ты долго глядишь,
как глядит человек посторонний,
туда, где родное сельцо
обступило глубокий овраг.
Вон — храм обезглавленный
страждет под тучей вороньей.
Вон — кто-то, шатаясь,
бредет по дороге в сельмаг...

Вон — школа твоя
(нет, уже не твоя) восьмилетка.
Тебе в ней помнится
едва ль не потерянный рай...

Уже над селом всем
воронья колышется сетка,
уже над округою всею —
вороний неистовый грай.

С недоброй, с недоброй
вещуны рассеялись вестью...
И горлом вороным
гримит над тобой небосклон:
«Опутан весь мир
сатанинской незримою сетью
и светлого смысла
и радости светлой лишен.

Вся жизнь обезглавлена
вместе с поруганным храмом,
весь мир пред тобою —
как здешний погубленный храм...»
Как зябко, как страшно
под этим клубящимся гамом!
Укрыться под крышей?..
Отыщет тебя он и там.

Там — мат-перемат,
и голодных коровушек ревы...
Не сбросить, не сбросить тебе
эту темную сеть...
На помочь призвать бы
молитвы спасительной слово,
но... сделано все,
чтоб его не могла ты иметь...

Да, сделано все темной силой...
И все же, и все же —
с надеждой и верой
взгляни в эту зимнюю высь:
Господь милосердный
заблудшим и сирым поможет!
Ты только очнись от безбожья,
ты только очнись!



Н

* * *

евыразимая есть тайна бытия.
Ее однажды, средь простого полдня,
тебе откроет вдруг печаль твоя,
когда ты в тишине, себя не помня,
сидишь и видишь лишь проем окна,
рука легко покоится на книге...
И явится, нет — промелькнет она
в одном предивном и слепящем миге.

И этого довольно, чтоб прозреть,
стряхнуть с себя дурман вчерашних бредней
и никогда уже не видеть впередь
ничтожною и малости последней.
И пред тобою твой кровавый век
предстанет грустью осиянным летом,
и смысл померкший слова ч е л о в е к
божественным вдруг озарится светом.

* * *

Ветер, ветер, не вышиби окна!
Виши ты, виши ты — какой шалопут!
Так и хлещет ветвями по стеклам,
будто чует, что я — где-то тут...
Все зовет — с ненасытностью взора —
улететь далеко-далеко...
Навидался я всяких просторов,
наискосся ночных огоньков...
Знаю, знаю я песенку эту!
Чур меня — этот стон, этот вой!
Радым-рады глаза рассвету,
чуть привставшему за рекой.

З

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

атоплю-ка печь про всех,
у кого теперь нет дома.
Пусть огня веселый смех
заживет в ночи знакомо!
Глубоки вокруг снега...
Но в путях-дорогах темных
теплым духом очага
вдруг овеет всех бездомных.
Сколько русичей теперь
снова без угла родного!..
Время горя и потерь
мой народ настигло снова...

Время горя и потерь...
Чья рука там ледяная
поскребла внезапно дверь?!.
Не его ли?!. Темь какая!
Я ж — про печь... Куда там — печь!..
Не помогут тут поленья...
Встать, лампадочку зажечь,
опуститься на колени
и молиться о тебе,
мой народ, с такою силой,
чтоб огнем пылать мольбе:
«Господи! Спаси! Помилуй!..»



ЗИМНЯЯ ГЛУХОМАНЬ

зябшей вороны не карканье — хрип
в продутой, просквозенной кроне,
похожий на петель проржавевших скрип...
Кивнул я, как другу, вороне:
мол, как ты, вещунья, чего ж не летишь
туда, где хотя бы сътнее?..
Она покосилась:
— Да вот ты, поди ж...
не всем где сътнее — милее!..
У всякой вороны есть свой интерес:
той — свалку подай городскую,
а мне — это поле, и этот вот лес,
и эту деревню, под хмурью небес,
считай, что полу живую...
Тебе-то, похоже, другое родней?..
Каким занесло сюда ветром?..

.....

Сутулясь, топчусь, безответный, под ней:
непросто, непросто — с ответом!..
Конечно, конечно, все это — лишь так:
взыграло воображенье!..
Но этот вещунин нацеленный зрак!..
В нем — явное неуваженье...

* * *
Ох, как во поле буря грохочет!
Тьма бурлит, как в котле...
Но! Есть дом!
Чу! Поет заполуночный кочет
на насесте высоком своем...
Чу! Сверчок в своем царстве запечном —
трень да трень, под сурдинку трубы...
Кроха вроде б...
Но... как он — о вечном,
о путях-перепутьях судьбы!..
И горит огонек, мерцая
перед иконою, в красном углу,
и творится молитва ночная,
недоступная мраку и злу...
Как все это мне снова знакомо!
Вот он — жизни мятежной итог:
мир спасется лишь верой и домом,
где лампадки живой огонек.

* * *
Нынче, на сером студеном рассвете,
кто постучался в окно мое? Ветер?
Птица-синица? Старуха-зима?
Или — холодная воля сама?..
Так позвало, поманило наружу —
в мглистые сумерки, в дымную стужу,
к белой печали безлюдных полей,
к посвистам вихрей да снегирей!..
Малость как будто: стоит человек,
смотрит на вышой углашенный снег...
Промельк снежинки. Сороки поскок...
С тем человеком — Россия и Бог.



В ПОХВАЛУ ОГОРОДНЫМ ПУГАЛАМ

Вот и заглянула в наш тишайший угол
стужа ранней гостьей... Не прогонишь прочь!
Мокрые одежки двух осенних пугал
в латы превратила ледяная ночь.

На ветру студеном стражи огорода
громыхают льдисто. Рученьки — вразброс.
То ль хотят сразиться с выногой-непогодой,
то ль — с тобой обняться, дедушко-мороз...

Кыш вы, кыш, вороны! Хоть они и немы,
в каждом затаился сокровенный глас!
Не худые ведра — боевые шлемы
на главах их горды! Не насест для вас!

Вы взгляните только: сколько благородства,
сколько в них отваги! Прекратите гам!
«Ваши огородья! Ваши огородства!» —
так к ним обращаться впредь бы надо вам!

ЗИМНИЙ ЗАКАТ

За темный бор опять уходит солнце.
Спешу запомнить этот чистый свет.
В последний раз он прыснул из оконца
в стене косматой. Вот его и нет...

Да, верю: снова завтра в мир он внидет.
Но зимний бор так мертвенно-уныл,
что кажется: край жизни я увидел,
прощальный взгляд ее перехватил.



В ДЕТСТВЕ, НА СТРАСТНОЙ



торые рамы — прочь! И в дом
влетала нагота апреля.
Как грязь сияла за окном!
Как лужи и ручьи горели!

А как душа рвалась туда,
где ликовала в глубях полдня,
над негой млеющего поля,
мне только зrimая звезда!

Я — за порог, а у крыльца
мать-мачехи созвездья манят.
Травинок первых копьеца
острейшей радостью изранят.

Я — в огород, а там, средь гряд,
сквозь бледные сухие плети,
не стеклышики-осколки светят —
малютки-солнышки горят.

А вечера! А вечера!..
В них было дымно и глубоко.
В них огородного костра
рубиновое рдело око.

И был особый, тайный час
(в тех днях великих — самый сладкий),
когда дарил мне Кроткий Спас
Свой взор и тихий свет лампадки.

Так было тонко и черно
стекло оконное, нагое,
и вод, не знающих покоя,
 журчанье было так слышно!

Утонет в заоконье взгляд
(слух — вместе с ним, само собою),
и вот он — Гефсиманский сад,
 со всей его опасной тьмою...

Душа тревожна и чиста.
Святое сблизит вдруг мгновенье
молене Самого Христа
и детское, мое, молене...

ВДРУГ...

Вдруг листвьев прошлогодних на дубу,
среди апрельского тепла и света,
 услышишь звон...
 Вдруг занырнет в трубу
вой выюги в дне сиятельный лета...
И ты замреши средь леса иль избы,
окликнутый неясною тревогой...
Как образ неприкаянной судьбы,
столп пыли вознесется над дорогой...
Вдруг встретишься, как на тропинке узкой,
с самим собой — чтобы держать ответ...

Мгновения святые скорби русской —
им счета нет.
Они приоткрывают нам простор.
Пусть снова жизни сладкая неволя
ведет свой терпеливый уговор —
не верить древнему напеву поля,
не вслушиваться в шепот диких трав,
не слишком-то внимать буранной песне...
Но! В миг один весь вздор ее поправ,
душа тревожно реет в поднебесье!



ВСКОПКА ОГОРОДА



сть сладость в азарте рабочем.
Весенний пьянит огород.
Копаю. А тень все короче,
вот-вот и совсем пропадет...
Вот-вот и совсем закопаю
сопутницу вечную я —
на радость всесветлому маю
и ради яснейшего дня!
А тень помаячила сбоку,
огибом зашла наперед
и, все удлиняясь к востоку,
уже великаншей живет!
И вот издевательски шепчет
(в дурном не привидится сне):
«Не я при тебе, человечек,
а ты, коротышка, — при мне!...»
Истома вечерних мгновений...
Гигантша верстою легла!
«Куда человеку без тени!
Твоя, — говорю ей, — взяла...»





**ЗАВОДЬ ТЕМНИЦЫНА НА РЕЧКЕ ИРШЕ,
ПРИТОКЕ УНЖИ**

3

аводь Темницына. Вон ведь название
какое!..
В темную воду, как в бездну ночную, всмотрюсь.
Заводь Темницына. В сумрачном этом покое
вдруг мне увиделся лик твой задумчивый, Русь.

Нависи облачной мягкие светлые пряди
над глубьевою, полуночной тьмою очей.
Сколько же боли в твоем вопрошающем взгляде,
Родина, милая!.. Знаю о скорби твоей!..

Чем я отвечу на вздох твой, страдалица, тяжкий?..
Сердце пронзила тревожная эта краса:
о, как белы полонившие берег ромашки!..
ох, как черны обступившие заводь леса!..



НОЧНАЯ ДУМА

3

венит, поет вода близ дуба,
чуть различимого в ночи.
Сомкни во тьме глаза и губы.
Не шелохнувшись, помолчи.

В присутствии ручья и древа,
в объятьях плотных тьмы густой,
под эти звоны и напевы,
под эту немоту — постой...

Пробрезжит дальний свет, и снова —
такая чернота вдали,
как будто силы духа злого
места родные облегли...

Ах, не как будто, не как будто...
Все так и есть, все так и есть...
Вся Родина объята смутой,
и козней дьявольских — не счастье.

В тревоге темной думы тонут.
Какая сила их спасет?..
И взгляд затянут, будто в омут, —
в глухой полночный небосвод...

Как обморок — молчанье ночи.
И кажется, что всюду — сон...
Но! Ручеек светло лопочет.
Но! Дуб в раздумье погружен.

Как он связал земное с горним!
В нем жизни истинной закон:
в земле его скрыты корни,
но весь он к небу устремлен.

А ручеек, что в русле тесном
лопочет — у его корней?!.
С утра он дивом был небесным,
что света самого белей!

Кому спешит он на подмогу?
Ему дано об этом знать:
вода к воде найдет дорогу,
чтоб морем неоглядным стать!

До них — великих, но безвестных,
соединивших глубь и высь,
до них — земных и поднебесных —
не сизойди, но — поднимись!

До этой песенки-журчанья,
до этой немоты святой —
до сокровенного молчанья
ночного древа над тобой.



K

* * *

апнул золотой слезой
ранний огонек деревни
в светлый омут под горой.
Миром и покоем древним
дышил небо надо мной.

Там — в небесной глубине —
звездочка дрожит, блестая,
в первозданной новизне,
и слезинка золотая,
словно в омуте, — во мне.

Век мой — сумасшедший век.
Но бывает иногда —
в тихой думе человек,
в кроткой ясности вода...

Вспыхнет ранний огонек
(там — небесный, тут — земной),
и никто не одинок
в чуткой тишине святой...

В ЛЕТНЕМ ПОЛДНЕ СО СТАРЦЕМ

«Липа собирается цветсти...
Господи, помилуй и прости!
Все-то дольней радостью живем,
все-то помышляем о земном...»



И опять — молчанье, тишина...
Только птаха во поле слышишь:
«Подъ-полоть!» И снова: «Подъ-полоть!..»
Сколь порою близок к нам Господь!
Как дохнул вдруг полдень теплотой!
Дух цветущей нивы, дух живой
обволок, овеял и утих...
Верится: коснулось нас, двоих,
веянье сияющих одежд...
Так стоять, не размыкая вежд,
с легкою улыбкой на лице —
при небесном любящем ОТЦЕ,
словно бы за краем горьких лет,
где лишь милосердный кроткий свет,
где живет душа с душою в лад...
Еле слышимо слова звучат:
«Экая, мой милый, благодать!..
Как нам Божий мир не прославлять?!.
От хлебов очес не отвести!..
Господи, помилуй и прости!..»

ГЛЯДЯ НА ОБЛАКО, ВОССТАВШЕЕ НАД ХОЛМОМ

Холма румяно-белое взглазие.
Не облако — дитя (ни дать ни взять!).
В песочнице Сахары иль Аравии
таком у впору было бы играть.

Но что ему пустыня знойно-дикая?!.
Оно безмолвно смотрит в синеву,
мол, впору мне — одна лишь Русь великая...
Венец-трилучье осиял главу.

Свидетельствует это увенчание:
тут не «в песочек» и мальцу играть,
но — в потрясенном, царственном молчании —
великому и тайному внимать...



ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ

ысокая радуга, белый клинок колокольни —
вдали, над пригорком, где в окнах неистовый свет.
И радость такая, как будто я вышел из штолни
на вольную волю, которой не видел сто лет!

Накупанный ливнем, омытый сияньем заката,
средь мокрого дола, зеленого дола, стою,
и словно бы все, чем чиста была юность когда-то,
свободно и свято вернулось вдруг в душу мою.

Легко и отрадно! Откуда такая беспечность?!.
Как ласточки вьются! В них радость вселилась
моя?!.

И просто поверить: сама лучезарная Вечность
земле улыбнулась на склоне июньского дня!..

Все — в мокрых блистаньях, все в трепете тонет веселом!
Горошины влаги миганьем живут озорным!..
Нет праздника выше, чем праздник зеленого дола,
омытого ливнем и светом, таким молодым!

Ах, дол этот летний душа моя всюду хранила,
как добрую сказку о родине милой моей!
Ворвется вдруг ветер — веселая вольная сила,
и вот оно — царство кузнецов, пчел и шмелей!..

И травные волны ко мне побегут издалека,
накатят, прохладой целительной вмиг опахнут!
И слуха коснется, рожденный глубоко-глубоко,
зеленого дола таинственный шепот и гуд...

Любая гроза не грозна, и любая легка непогода,
лишь дол этот вспомню, лишь только помыслю о
нем.

Как голос надежды, как свет в глубине небосвода —





БЛУДНЫЙ СЫН ВОЗВРАТИВШИЙСЯ

Изможденный изгой
чужедальних краев,
я вернулся домой —
под родительский кров.
Среди милых родных,
средь счастливого дня
дрожь рыданий глухих
 сотрясает меня.
Я вчера — свинопас,
тень печальных долин...
Отовсюду сейчас
слышу я: «Господин»...
Был на заднем дворе
потихоньку сожжен
(весь дыра на дыре)
смрадный мой балахон.
Вместо рвани моей,
облечён я в хитон,
что и снега белей.
Неужели не сон?!.
И на пальце моем —
счастья крошечный мир —
 занебесным огнем
полыхает сапфир.

И для пира заклан
упитанный телец.
Сединой осиян,
счастлив, весел отец!
Старший брат мой со мной
примириться сумел.
Но... опасной тоской
младший брат заболел...
Тень легла на чело —
тайной думы печать...
Вдруг вздохнет тяжело
от предчувствия мать...
Моих странствий итог,
знать, его не страшит:
вон он — вновь за порог
без оглядки спешит!..
Как там лужи горят!
Как сияет там грязь,
как томит его взгляд,
золотой притворясь!..
Тесен, тесен ему
дом родительский стал.
Посох мой и суму
он слугам не отдал...



ОДИССЕЙ ВОЗВРАТИВШИЙСЯ



одиссей возвратился.
Над Итакой небо — бездонно.
Бирюза и сиянье.
И нега во всем — без предела!
Напряженье скитаний
покинуло сильное тело.
И душа — будто чайка,
что дремлет на отмели сонной...

Безмятежен и царь,
безмятежно и царство его островное.
Вот — желанная пристань!
Всему свое время, наверно...
Слюдяные блистанья,
и пены шипенье, и в зное
море мреет и дышит
у ног успокоенно, мерно...

Но... рассыпанный блеск
по морской стекленеющей зыби
вдруг померкнет, и тьма,
перед взором сгустяясь, зароится...
Море пасти разверзнет,
и хладом могильным погибель
опахнет, и душа
встрепенется, как хищная птица...



И рванется назад,
бедоносную тьму рассекая,
будто голосу счастья,
призываю заманным вдогонку!
То в полете
внезапно окликнет ее Навсикая,
то Калипсо вдруг смех
над волнами рассыплется звонкий...

И в смятении
царь Одиссей озирается немо.
Нет, не царь, но скиталец,
чья память, увы, ненасытна.
Вскинет взгляд к облакам:
«О, прости меня, вечное небо!..»
И потупится вдруг,
как побег замышляющий скрытно.

Манят к облачным дивам
овечьи избитые тропы.
Шепчут, дразнят огнями
жемчужные гребни прибоя...
«Одиссей! Одиссей!..»
Что за крик?.. Наваждения зноя?..
До сознанья не сразу дойдет:
то — призыв Пенелопы...

ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ

Сердце, ты давно забыло
все-то грозы и занозы,
и приходит повтореньем
лишь достойное помина.

Все прекрасное, что было,
навевает ныне грезы
вечереющим сиреням,
вечереющим жасминам...



НАД БЕЗДНОЙ БАБОЧКА...

ары горящий свиток свит.
Безумно смотрит Вечность.
Над бездной бабочка летит,
летит сама беспечность.

Там — глубоко внизу, под ней —
зной голубеет чадно,
хребтины глыб, клыки камней...
Все — грубо, беспощадно...

Мелькает белый лоскуток.
Все выше он, все выше!..
И вот уж полдень не жесток,
и бездна жадная у ног
сном и покоем дышит.

КУПАНЬЕ В ОТРОЧЕСТВЕ

Бултых! Перехватило дых.
И выброшен я глубиною
для встречи с той голубизною,
что ждет лишь чистых и святых!
Еще глаза мне влага застит,
но весь в небесном я тону...

Вот это-то и было счастьем:
из глубины — да в глубину!





К

* * *

ак вспыхнула радость!
Я там, где когда-то
душа трепетала,
что крылья стрекоз!
И небо, как некогда,
негой богато,
и в тех же ромашках
знакомый откос!..

Запеть! Закричать!
Но... погашена вспышка:
не мне, старику,
улыбнулся зенит...
Моими словами
какой-то мальчишка
средь луга
в бездонное небо кричит...



Н

В ТАЙНЫЙ ЧАС

очные просторы — дремотны.
Проселок — светлей ручейка.
Дыханием трав приворотных
сырая прохлада легка.

Сошлись две зари и забыли —
которой очнуться черед,
которая алые крылья
над летней землей вознесет...

Во всем — тайнолётное что-то...
И вдруг — духоносна, светла —
предивная радость полета
чуть слышно коснулась чела...

И вот уже — тайное зrimo!
Да, зrimo, бессонному, мне
плескание крыл серафимов
в небесной живой вышине!

Там — в высях — (глубоко-глубоко!)
оконцем распахнут зенит,
в чистейших струящихся токах
сонм ангелов светлых парит...





II

НА ЯСНОМ РАССВЕТЕ

роснулся и вслушался. Тихо-то как! В изголовье окно зоревое лучится сиянием льдистым. За стеклами небо такое — не выразить в слове: пустыня, в которой свобода — лишь помыслам чистым.

Вниманье ко граду спокойному чье на рассвете?
Кто светлым лицом к замиранью его обращен?
То — Ангел-Хранитель. Он белыми крыльями ветер
утихнуть заставил и впасть в летаргический сон.

Я только что им возвращен в этот мир издалека,
оттуда, где звездочка-искорка вознесена
над тихо растущим спокойным сияньем Востока,
в котором, купаясь, трепещет и тает она.

Там те же меня омывали пресветлые волны...
Да я и сейчас не в постели как будто лежу —
скитальцем небесным (пространства и времени полный)
во град, озаренный рассветом, неспешно вхожу.

И в этих мгновеньях дана мне счастливая воля —
скрепить замирающим сердцем и тихой душой
союз, заключенный тайком меж дыханием дальнего поля,
заплывшим во град мой, и улиц пустых тишиной.

Как просто рассветом даровано служу и взгляду
жить вечностью ясной! Никак не расстаться мне с ней.
Всем-всем существом я еще ощущаю прохладу
покинутых мною ее васильковых полей...



Г

* * *

тарое дерево изб и сараев
позолотилось под взором зари.
Северный вечер светло догорает,
месяц-южанин высоко парит.

Здесь, в заревой тишине, за дворами,
хочется верить пред этой зарей:
он уже рядышком, не за горами —
миру приснившийся в е к з о л о т о й...

* * *

Лепит гнездышко ласточек быстрых чета.

В мире грозном не ведает страха она,
древним делом своим допоздна занята:
было так и так будет — во все времена!..

Лепит гнездышко ласточек быстрых чета.

Бот когда мельтешение — не суeta!
Время вечности птахам-трудягам дано.
И оно не бежит, и не мчится оно.

Лепит гнездышко ласточек быстрых чета.

И покоен мой дом под ее щебетню.
Осияло закатом родные места.
Лёт касаток моих — по огню, по огню!..

Лепит гнездышко ласточек быстрых чета,
беззаботна в заботе, легка и чиста.
Птахам верится: мир — бестревожен и тих.
Как мне больно за все!.. И за них, и за них...





Л

ТЕПЛЫЙ ЗВОН

учезарный небосклон.
 Тихий безмятежный вечер.
 Сосен восковые свечи.
 Теплый звон. Вечерний звон.
 Белой церковки призыв
 вновь плывет над отчим краем,
 царственно-нетороплив.
 Б л а г о в е с т о м называем.
 О, как вспомнила душа
 Русь Святую, над которой
 звон, торжественно-нескорый,
 плыл, все темное глуша!
 Как согрет я ныне им!
 В сердце он — что голос счастья
 (после стольких диких зим,
 после мертвого безгласья).
 Теплый звон. Вечерний звон.
 Растопи своим звучаньем
 ледяное одичанье,
 ледяной духовный сон!
 Душу каждую согрей,
 вознеси к небесной славе,
 теплый звон Руси моей —
 зов родного Православья!



И

БЕСЕДА В ПОЛЕ

оговори со мной о небе синем,
 друг-vasilek!
 В беседе редкой мы сей мир покинем
 на малый срок.
 Забудемся мы в ней, неторопливой.
 Ты — «ох!», я — «ах!»
 Ты помнишь лишь о синеве счастливой.
 Я же — о громах...

* * *

Пожары дня стоят над спелой рожью.
 То — ангелы, чуть зrimые, как зной,
 затеплили повсюду славу Божью
 над Русью предосенней, полевой.

Сияние полуденных просторов.
 Сиянием душа напоена.
 Полуденных небесных разговоров
 исполнена земная тишина.

«О Господи! Прими благодаренье, —
 шепчу отверстой синей глубине, —
 за то, что этот день отдохновенья
 Ты ниспослал измученной стране!..»



III

В ТЕМНОМ ЛОГУ ПОД СВЕТЛЫМ НЕБОМ

атер небес так лучезарно светел!
А здесь, в логу, — прохладный травный
дух,
здесь сумрачно, и многомолвный ветер
волнует травы и тревожит слух.

Дыханье тайны, некогда известной...
Вот-вот она откроется сама...
Взметнулся луч широкий поднебесный
над облаком — наглавием холма.

Как будто путь тебе указан солнцем,
укрывшимся за облаком седым:
неботаинником*, небесоходцем
отправься в путь, предвосхищенный им!

И кажется, что смог бы... Да, вполне бы!..
Взмахни руками-крыльями! А там —
превысшее, превысеннее небо
откроется твоим земным очам!

Омыться в лучезарной этой сини,
к стопам Господним, чистому, припасть!..
Неужто человеческой гордыни
в мечтанье этом разыгралась страсть?!

* неботаинником — знающим тайны неба.

Нет. Эти сокровенные мгновенья,
святей которых ты еще не знал,
тебе даны для болеутоленья,
тебе их светлый Ангел нашептал.

И нет в тебе и самой малой скверны
в прохладной этой травной тишине.
Все-все твои мечтанья небомерны.
Ты с Ангелом своим наедине.

И этот свет небесного покрова,
и этот зов блаженной высоты —
свидетельства того, что не прикован
к земной юдоли, как когда-то, ты.

Как остро ощутил ты вдруг, что вечен!
А более не надо ни-че-го.
Ты Господом средь темных трав замечен,
назнаменован дланию Его.

* * *

В доме плача открыли окно,
распахнули в простор луговой,
в день, где все — зеленым-зелено,
где небес чистота и покой.

Лошадь тихо паслась у пруда,
куковала кукушка вдали,
небеса отражала вода,
незабудки небесно цвели...

Будто юное лето в тот миг
озарило сиянием дом
и задуло печальный ночник,
мертвый свет разливавший кругом...





В

* * *

споминаю и вспомнить никак не могу
давний день, на окраине жизни, мне данной,
где младенцем стою на широком лугу,
средь высокой травы, синевой осиянной...

Как мне вспомнить его до такой глубины,
до таких, мне открытых тогда, откровений,
из которых чудесно мне были видны
души облачных груд, души облачных теней?..

* * *

В раздумье глаза поднимаю.
Как высь-то светла и легка!
Примите меня в свою стаю,
сияющие облака!

Небесная блещет обитель.
Какая ж у вас благодать!
Светло и меня научите
на горькую землю взирать!

Лететь бы на полной свободе!
Сколь участь такая сладка!
Одно мне, увы, не подходит:
на землю смотреть свысока...



Д

В ДОРОГЕ

деревня.
На моем пути

два мальчика играют «в пьяных»...
Играют бесом обуянных
и очумело-деревянных...

А мальчикам — лет по шести...
Выкрикивают что есть мочи
невнятцу наперебой
и заливаются-хочут

над этой самою «игрой»...
Вдруг упадут и — ноги кверху,
и не подняться им никак...

И снова давятся от смеха!
Им — весело: похоже так!
Ну, словно вправду — пьяных двое!
Мотает их и вкривь, и вкось!
Им насмотреться на такое,
видать, как следует пришлось!..

Уже избы последней крышу
меж сосен не находит взгляд,
а я как будто вижу, слышу
тех деревенских пострелят...

И странно: будто на закате,
багряны сосняки кругом...
И, как молитву, как заклятье,
шепчу я в зареве лесном:
«О северная деревенька,
 храни всей чистотой твоей



от вывихов, болезней века
твоих сегодняшних детей!
Спокойно-ясными утрами,
задумчивыми вечерами
ты их, деревня, умудри!
Пусть в них войдут,
как жар, как пламя,
рябиновые сентябри!
И стужей их прожги, и выногай,
в дождях и росах накупай
и всю просторную округу
им до травиночки отдай!
Отдай им тайну омутную
текущей близ тебя реки,
отдай им песню ветровую
твоей ноябрьской тоски.
Войди в них сказкой, и преданьем,
и речью плавною твоей,
войди в них таинством-молчанием
твоих лужаек и полей!
И пусть во всякое мгновенье
живет в них радостью святой
единственное опьянение —
от воздуха земли родной!..»

* * *

Ухо-жу от бочага.
Не проходит наважденье:
будто тайного врага
в нем увидел отраженье.

Кто смотрел там до меня,
свесившись через колоду,
в ржавую лесную воду?..
Леший? Черная змея?..

Пред глазами — холод струй,
дна песчаного клубленья...
Страшный долгий поцелуй,
а не жажды утоленье...



ПОСЛЕ НОЧНОЙ ГРОЗЫ

чнулся. Тихо. Б е з о п а с н о...
К окну. И — створки нараспах!
Так небо весело и ясно,
что только и сказалось: ах!..

И вот рассветом мне открыто
(как следом высохшей слезы):
что было миром пережито
среди всевластия грозы.

Вон — на лужайке, перед домом
(и как там оказался вдруг?..) —
еще живой, сияет сколом
и медом истекает сук.

И ароматом тополиным
исходит из последних сил.
Вон — вспорот холм до самой глины:
поток там бешено бурлил.

Вон — сорванный с какого дома? —
похожий на избитый щит
лист жести — подражатель грома —
смиренно в лужице лежит...

А сам я разве не запомнил
слепые сполохи реки
и семизубцы ярых молний,
рубивших темень на куски?!

И рев разверзнувшихся хлябей
над крышей дома моего?!.
О-о-о!.. Я изведал ужас рабий
пред гневом Бога Самого!..

.....
Но... это чудное свеченье!..
Из рая послано оно?
Всей жизни тайное значенье
понять рассветом мне дано.

Как бы впервые открылось зренью,
всем чувствам остальным моим,
что утро лишь одной сиреню
все может сделать н е з е м н ы м .

Вон — кадка всклень под водостоком.
В ней — золотая тишина.
Гроза явилась к нам с востока?
Востоком кадка и полна!..

Вон — по блистающей дорожке,
средь спящих капель-жемчугов,
отряхивая лапки, кошка
крадется в царство вещих снов.

К нему — вот на таком рассвете,
когда дается все щутя, —
свободен доступ им и детям,
а я сегодня — вновь дитя.

Но мне и так уже сверх меры
(не по грехам моим!) дано:
душа — чиста, и все химеры
ушли в открытое окно.

И коль однажды спросит память:
«А знал ли счастье ты когда?..»,
я лишь потщусь сей час представить,
чтоб ей кивком ответить: да.



Ч

* * *

то за пташка вечерняя в желтом
просвете
пропорхнула меж мокрых и темных ветвей?..
И как будто шепнул мне очнувшийся ветер:
«Соловей... соловей... соловей...»

Так вдруг капли с листвы этим ветром стряхнуло,
и повеяло свежестью острой такой,
словно все, чем таинственна жизнь, промелькнуло
тихой птахой в сей миг предо мной...

* * *

Евангельский свет... Он и впрямь только детям,
наверное, столь сокровенно знаком...
Боюсь побывать стариком в Назарете,
в той хижине бедной, где в детстве своем
я знал молчаливые светлые полдни
и луч предзакатного часа в углу...
О, как я все э т о впитал и запомнил!..
Боюсь, что припомнить теперь не смогу...
Я знал сокровенное это наследство —
как чистый рассвет, как вечерний покой...
Увы, чистота галилейского детства
на всю мою жизнь не осталась со мной...



6

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР ЛЕТА

сть в этом вечере глухом
вражда, которой не понять мне.
В угрюмство впал наш тихий дом
(не тяготеет ли на нем
заклятье чье-то иль проклятье?).
Цветы... И эти — во вражде.
Как странен свет их в полумраке...
И звезды, будто волчьи зраки:
звезда чужда другой звезде...
И ноют, ноют над окном
не провода — стальные жилы.
Как будто ими связан дом
с мятежным миром темной силы...
И тишина в себе таит
беду, как оголенный провод:
и заискрит, и зашипит —
ей только дай ничтожный повод...
И мне, средь хмури и тревог,
средь темного всего и злого,
один смиренный огонек,
в окне чужом, — родней родного.



3

НИМБ

« золотым кольцом России»
э то
называют ныне...
Не издевка ль темной силы
над страной, где сном пустыни
столько дивных мест отпето,
где погубленной святыни
отовсюду взгляд прощальный?..
Н и м б о м я назвал бы
э то
Родины многострадальной.

С УСМЕШКОЙ

Во многой мудрости много печали.
Экклесиаст. 1, 13

Печаль — от мудрости!
Не мудрость — от печали...
Таков закон:
быть мудрости — вначале!
Вот взять себя:
печален с малых лет,
а мудрости, однако,
нет как нет...



С

* * *

ко́лько останется в мире дверей,
тех, за которыми не был ни разу!...
Знаю: судьбы не хватило б моей...
Знаю: не бездна — память и разум...

Мир — беспределен, а жизнь — коротка.
Но... эта древняя-древняя жажда —
оклик услышать в мгновении каждом!...
Неутолимость ее — велика!..

* * *

Высшие радости нынешних дней —
в небе увидеть угольник гусей,
встретиться с лугом, под гуд медосбора,
с бором, не тронутым грубым разором,
с озером в лилиях, с чистой рекой,
с ясной, спокойно-приветной душой...



Л

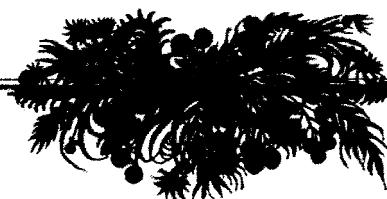
* * *

ней счастливых мало?

Оглянись назад:
с самого начала —
несчастливых ряд...
В том ряду —
ре-е-де-нько —
где-где огонек:
вдруг взблеснет неделька,
вдруг сверкнет денек...
Вроде бы и малость,
а смотри: опять
память рассиялась!
Свету! — не унять!



ОСЕННИЕ ВИДЕНИЯ НА УНЖЕ



ОСЕННИЕ ВИДЕНИЯ НА УНЖЕ

1

ветила оконцем зари непотухшой
настылая храмина раннего дня.
Тоскливы мотивчик насыщивал в уши
ветришко-проныра, тревожа меня.
Продравшись сквозь ельник, я замер
устало
пред россыпью пляшущих тусклых огней:
чешуйно мерцая, река утекала
в леса, будто некий невиданный змей.

Столь было упорно ее утеканье,
что мне вдруг почудилась в глуби речной
разумная воля, помнилось желанье
как можно скорее утечь на покой.
Так это вошло в мою душу!.. До дрожи!
И тут я не воду увидел у ног —
утекшей реки изгибающее ложе
пустое, нагое, лишь ил да песок.

Река унеслась в вожделенные дали,
взблеснув напоследок под бледной зарей
и жаркостью золота, и хладностью стали,
оставив лишь сырости дух неживой.
Отринув легко ключевые истоки,
лесные притоки — речушки, ручьи,
к последней, неведомой мне остановке
умчала студеные воды свои.

Вся жизнь, показалось, рекой неоглядной,
к незримым пределам стремясь, утекла.
Осталось — горенье зари неувядной
и всё затопившая стылая мгла.

Душа закружила над мертвым обширьем,
душа закричала во мгле той: «Вернись!..»
Ничто не очнулось в безжизненном мире,
лишь вздохом ответила хмурая высь.

Как будто впервые, окинул я взором
настуженный край, мне до боли родной,
один на один с помертвельм простором,
один на один с помертвелой рекой,
один на один с моей Родиной бедной,
с глубинной Отчизною наедине...
Стенаньем над бездной и плачем над бездной
шум леса прибрежного чудился мне.

Ольховников шорох, осин лопотанье,
щущуянье ельников, гул сосняков...
Но слышались жалобщиц мне причитанья,
мольбы безутешно рыдающих вдов.
Как будто лишенный одежды и тела,
стоял я, внимая глухим голосам.
Одна лишь душа на юру холодела,
открытая всем леденящим ветрам.

Подумалось: «Имя реки этой — Унжа —
едва ль человеком ей было дано:
какая-нибудь лихоманная стужа
его прошептала когда-то, давно...»
Охваченный тяжкой духовною смутой,
себя самого я не помнил тогда.
Мир вечный мне, смертному, был в те минуты,
что сын, над которым разверзлась беда...



Печальный покой моей отчины древней,
куда не дошел ни монгол, ни тевтон...
Заглохшие нивы. Пустые деревни.
Безглавые храмы... Не страшный ли сон,
не страшный ли сон о земле разоренной
я видел?.. Не туча висела над ней —
тень думы, тень думы, обремененной
тревогой и скорбью, тень думы моей...

Россия... Порою глаза лишь прикрою —
под ветер, под флегму осеннего дня —
и дух котлована опять над страною,
дух лагерной зоны объемлет меня,
шипенье пустыни, тоскливые звуки,
просквозленность, стылость лютейшей зимы,
сравнимой по жути своей и по муке
с зимою гулаговской Колымы...

4

Россия... Так было все мертвое и голо,
что к горлу от сердца волной поднялось:
«Кричать, пережегши на холоде голос,
кричать ее имя!.. Очнется, авось...»
Кричать, голосить посреди пустолюдья,
вопить над утекшей (убитой?) рекой
до полной надсады, всем горлом, всей грудью!
Нарушить, взорвать этот мертвый покой!

Уже и не быть в человечьем обличье —
стать болью орущей, стать воплем живым,
мольбою горящей, пылающим кличем
пред горько-беспечным народом моим.
До каждой оглохшей души докричаться,
до пьяни последней — бича и бомжа,
до самого черного святотатца,
в слезах над страной разоренной кружка.

Родные! Очнемся! Опомнися! Или
убиты в нас вовсе надежда и честь?!.
Нас всех обманули, нас всех отравили.
Но есть исцеление, милые! Есть!
Да, знаю: повсюду ловушки и пасти
расставлены хитрым, коварным врагом...
Но мы превозможем любые напасти
и вновь к очищению и свету придем!

5

Нельзя не прийти нам! Зря тщишися, разум,
реальностью грозной меня поразить,
мол, этой беды, как чумы иль проказы,
уже не избыть нам!.. Я верю — избыть!
Есть промысел Божий о данной нам силе,
и дивный покров Богородицы есть,
о чём нам великие старцы России
оставили крепкую, верную весть.

Не в тартарары устремим свои судьбы
со всею страною, но вспомним о том
решающем дне, где Архангелов трубы
и Божьего гласа всеслышимый гром!
И сбросим с себя сатанинские сети,
лохмотья и рубища, грязь их и гной.
И явится Русь во спасительном свете,
чтоб путь осветить всему миру — собой!

Восстанет, как некогда, снова святая,
из муты безвременья, из забытья.
Восстанет, зарей лучезарной сияя,
Россия — казненная матья моя.
Восстанет! Воскреснет! Смерть, где твоё жало?!.
Её ты сумела к кресту пригвоздить?!.
Распятие ей пережить надлежало —
чтоб крест в существе своем осуществить!



Меж туч полыхнуло вдруг ярое око,
как вспышка прозрения передо мной:
не зря этим днем ты поставлен высоко
над этой студеной осенней рекой!..
Не зря в тишине сего раннего часа,
в сей миг озаренья явился тебе
край леса вознесшимся иконостасом
с остатками злата на тонкой резьбе...

Он ждал, поджидал тебя в огненной дрёме,
под куполом этих печальных небес,
чтоб встал на молитву ты в этом укромье —
в минуту прозренья души и очес.
Молитва! Какая нужна нам молитва!
Нам, всем бы народом, пред Господом пасть
и, как перед страшной, решающей битвой,
мольбę покаянной отдаваться во власть.

И вымолить, вымолить Божье прощенье!
А там и подняться на подвиг святой —
в едином порыве, в лучах очищенья —
всем миром! С тобою, Россия, с тобой!
«Россия...» — шептала заветное имя
осеннего леса сквозистая сень.
«Россия, Россия...» — губами моими
шептал, еле слышно, настуженный день.

По дереву хрыснул топор в отдаленье?..
Звук колюще-острый вонзился в меня.
Мир, вздрогнув, качнулся. И в то же мгновенье
легко всё вернулось на круги своя.
Река, как текла, так и течь продолжала,
синели, щетинясь, за нею леса,
курились туманом седые увалы,
звенели пролётных пичуг голоса...



Протаяла ять. Так по-новому дорог
мне был ее кроткий задумчивый свет.
Мне каждый кусточек и каждый пригородок,
казалось, светло улыбался в ответ.
Смеялась излука, искрясь за сплетеньем
раздетых до листика тонких ветвей.
И, словно омытые небом осенним,
глаза мои видели зорче, ясней.

Песчаные струйки стекали с обрыва,
и ветер тонюсенько пел у виска,
с верховьев откуда-то, неторопливо,
вгустую, стадами, брели облака.
И, стоя под их молчаливым надвигом,
над светлым струенем настуженных вод,
я слышал течение каждого мига,
я времени слышал спасительный ход.





3

ИЗБА НАД УНЖЕЙ

Поэма

1

десь избу вознес крутой угор
словно бы затем над тихой поймой,
чтобы вечный ей нести дозор
средь округи, мертвенно-спокойной.
Так я не смотрел из-под руки
столько лет! Какой укор для взора
в иноческой бледности реки,
в схимнической тихости простора!..
Как я жил без этой остроты,
этой ясности вокруг не зная?!.
А теперь вот и за полверсты
мне видна травиночка любая.
Слух мой замкнут был в самом себе
шумом городским. И вот — он волен!
Даже сидя у окна, в избе,
слышу я, что происходит в поле.

2

Северное время не спеша
в тучках проплывает над избою.
О, в каком родстве моя душа
оказалась вдруг с е е душою!
Чуть вздохнет о н а (кого-то жаль?),
прокряхтит и вновь молчит угрюмо.
Может, обо мне е е печаль,
обо мне участливая дума?..
Каждый проскрип, каждый вздох е е,
в напряжение тишины суровой,
это — на молчание мое
горестно прошептанное слово?..
Облачная навись потолка.
Охристое половиц сиянье.
Все вокруг — святое ожиданье:
жизнь вернется к н е й издалека!..

3

На стене — убогих рамок ряд:
сквозь уснувшие на стеклах блики
с фотографий выцветших глядят
на меня е е хозяев лики.
Там — за каждым — горькая судьба,
грозовая, темная эпоха...
«Есть по ком вздыхать тебе, изба,
есть с чего кряхтеть тебе и охать!..
Страшный не избыт, увы, разбой,
не видать конца сему разбою...» —
то ль с избою, то ль с самим собой
говорю, качая головою.
«Знаю, знаю...» — охает о н а,
ох, не деревянная и в горе.
За ушедших всех о н а одна
здесь стоит высоко, как в дозоре.



Чу!.. Прошли груннее облака...
Дождик окропил е е вполсильы.
Или Бога Самого рука
отрясла над н е ю вдруг кропило?..
О, как день омытый чист и свят!
Глянул луч из глубины бездонной.
Вечности сиянием объята
мир и избяной, и заоконный!
Как заречная приникла даль
к окропленным вдруг оконным стеклам!
И изба смеется (сквозь печаль):
под святою тучкою помокла!
Словно в райском побыла саду!
Будто не в дожде скупнулась — в счастье!
Ах, такую ль видела беду!..
Ах, такие ль помнятся напасти!..

Пережит здесь е ю каждый миг
(снег ли, дождь ли мел метлой по крыше).
Я — ее прилежный ученик:
у нее учусь смотреть и слышать.
Свет вечерний в окнах попригас.
Шепоток избы закрался в сердце:
«Надо нам с тобою в этот час
в край полузагубленный взглянуть!..»
«Надо, — соглашаюсь с н е й, — да-да...»
Вон — уже Заунжье мгла туманит,
вон уже и ранняя звезда
остреньким лучом на волю манит...
За порог. И только вздох дверной
проводает к мертвому безлюдью.
Воздух в о л и, острый и сырой,
не вдохнуть никак мне полной грудью.

Будто заперт я в самом себе.
Теснота в груди от дум и болей:
не остались, горькие, в избе —
тоже захотелось им на в о л ю...
А на в о л е и своих — гурьба!
Тут же и накинулись — гурьбою...
Нет от них спасенья, нет отбою.
«Слушай, слушай их!..» — велит изба.
Чьи, откуда эти голоса?!.
Справа, слева, сзади... Отовсюду!
То ль шумят окрестные леса,
хоть и ветер поутих покуда?..
Голоса то тише, то слышней.
Слабые, рыдающие звуки...
Сколько ж тут накоплено скорбей!..
Сколько ж тут невысказанной муки!..

Слышно мне, как струйка родничка
под горою падает на желоб.
Хоть одна тут песенка легка —
среди здешней тишины тяжелой...
Чудится, журчит мне ручеек:
«Все твои печали успокою
и на долгий уврачую срок
«скачущей в жизнь вечную» водою...»
Лишь лицо поднять и замереть
надобно под песенку журчаний,
чтобы навсегда уже прозреть
для спокойно-ясных созерцаний.
И стоять со взором, освещенным
чистою зарею и рекой,
возвратясь под чутким небосклоном
к чуткости, давно забытой мной...



Соприкосновение с незримым...
 Светлое сморгнется забытье,
 словно шестокрылым серафимом
 вдруг лицо овеяно мое...
 В колыбельной тиности овраги.
 Вечера святое рождество.
 Все в курениях небесной влаги
 сумерек живое вещество.
 Раствориться б в часе светогасном!
 Мир вокруг — не Божий ли чертог?!.
 Вижу все вокруг богопричастным —
 каждую былиночку у ног.
 По увалам, отдаленным самым,
 по борам, молчащим за рекой, —
 всюду предо мною Божьих храмов
 и святых обителей покой.

Елей медноцветные вершины,
 главки звонниц мне видны вон там?..
 Та вон белоствольная куртина —
 чем не белый и смиренный храм?!.
 Зоревым сиянием объято,
 куполообразное на вид,
 вознесясь над нею в три наката,
 млеющее облако стоит...
 Никакие тьмы не погасили,
 никаким не одолеть волхвам
 чудное томление России
 по небесным белым островам.
 А вон тот задумчивый осинник,
 трепетом объятый и огнем,
 разве он, скажи, не сотаинник
 в каждом помышлении твоем?!

Мнится мне? Иль вправду слышу я
 тихое раздумчивое слово?..
 Будто «собеседница» моя
 рядышком заговорила снова...
 Не ушло покуда в забытье
 то, что слышал здесь во дни я оны
 от хозяйки старенькой е е —
 от покойной тетушки Матрены.
 Вот ее старушьим голоском,
 в сумраке осеннего предночья,
 как в бреду, изба мне и бормочет
 все о том, что поросло быльем.
 Ох — тебе, забвения трава!
 Ох — вам, неумолкнувшие были!..
 Свечечками тихими слова
 в сумерках округу осветили.

«Знаешь ли, какая тут была
 людная веселая деревня?!.
 От нее остались лишь деревья
 да еще — единственная — я...
 Жизнь какая тут у нас бурлила —
 до прихода-то безбожных лет!
 Навалилась бесовская сила —
 год за годом — все сошло на нет...
 Вымер край. Не вынес разоренья,
 убиенья веры и земли.
 Ломки, встряски, разума затменья
 жизнь вокруг под корень подсекли.
 Вот и жди тут, чтоб пришел хоть кто-то,
 под дождем осенним холдей,
 погрузясь во мглистые пустоты
 мертвых дней и в черноту ночей...»



Унжа тихо плещется в тоске,
средь нагих ольшаников скрываясь.
И моя тоска течет к реке,
в сумерках с ее тоской сливаюсь.
Холодна туманная водица.
Стрежневая просверкнет струя, —
тут же отзовется под ключицей
боль непроходящая моя.
Как здесь тихо умирают дни...
Никому кончины их не видно.
Вон сосенок — свечек панихидных —
розовато теплятся огни...
Вон изба такая ж — посмотри:
как воспоминание о солнце,
врос огонь слабеющей зари,
за рекою, в мертвое оконце...

Горькая голь-гольная берез.
Пепельность ольховника и вербы.
Взгляд поднимешь к меркнущему небу, —
мир качнется от невольных слез.
Догорает за спиной закат.
Словно бы нацеленные ружья,
брошенные избы Верхнеунжья
отовсюду на меня глядят.
Средь лесов невидимые мне,
в сумерках они открылись зренью...
Броде бы и по моей вине
Север мой подвергся разоренью...
Это я собой не защитил
здешних деревушек от глумленья,
и моих тут недостало сил,
и моей молитвы — для спасенья...

Вон она — э п о х а — далеко ль,
времечко застоя и запоя?..
Морем разливанным алкоголь!
По любому поводу — застолья!
Ходуном ходил наш Русский дом.
Бесы в нем «долой!» орали Богу.
Знал же ты: не кончится добром
страшный пир... Ах — не забил тревогу...
Нет, чего-то ты произносил
средь таких же «правдолюбов» вяло...
Лишь на шепоток достало сил,
а на крик — ни разу недостало...
Наплели витии, намололи.
Не расплеть теперь, не перепечь.
Попройдут на языках мозоли,
может, и наладим нашу речь...

Нам бы разучиться — лгать и лгать!..
Века окаяннейшего чада,
сколько в прошлом надо нам понять
и оплакать сколько еще надо!..
Вон — теперь — послушаешь, иной
взгордится: «я — ш е с т и д е с я т и к!»
Лучше бы подумал головой,
скольких он безумий соучастник!..
Если б разобрался, что к чему,
может, и пришло бы пониманье:
слезного достойна покаянья
сопричастность к племени сему.
Да, «шести-де-сятники»... Словцо...
Неспроста его подбросил кто-то!..
Мало ль тьмы кромешной мудрецов,
чье призванье — адова работа!..



Вот они лукаво и нашли,
и пустили в оборот прозванье
тем, кто жил от русских бед вдали,
кто не знал народного страданья,
но хитро подмигивал, когда
косно речи плел язык «генсека»,
кто средь многих лихолетий века
знал и помнил лишь «свое» всегда.
Наши беды — в плане, так сказать,
ну, а все «свои» — они — вне плана!
Ох, «шестидесятники»! Ох, рать
мастеров лукавства и обмана!
Ваши лицедеи от пера —
мастера пустогромовой темы —
бойко выдавали «на-гора»
из подземий адовых поэмы.

Все-то их отечество — Арбат.
Там и заходил их ум за разум.
Их арбатско-лонжюмовый взгляд
в эту глушь не проникал ни разу.
Им за чушь какая-то там глуши —
пичкающим калечного Пегаса,
содранного с полотна Пикассо,
суррогатом «треугольных груш».
Им — «Дубовый лист виолончельный».
Им куда родней «Антимиры».
Есть еще какой-то — запредельный —
«Русский мир»? — Сгодится для... игры.
Кто-то в нем, не выдержав, исчез?
В нем полно позора и разора?..
Что ж — вполне естественный процесс,
названный «естественным отбором»!

Вновь по всей России в те года
закрывались и взрывались храмы.
Не печаль им это, не беда.
Их не занимали «энти драмы».
Тысячи российских деревень
шли под нож. Тревожило их это?
Ах, о том и слышать было лень
всевозможным «больше чем поэтам».
Им хоть вся Россия потони!
«За бугор» умчатся без печали.
Вот — «семидесятники» они,
вот — «восьмидесятниками» стали...
«Девяностые» грядут,
«новых русских» нацепивши клички
(дескать, «старым» все равно — капут).
«Нео-рашен» им — взамен отмычки.

Где-то поле полонил бурьян.
Не растет ни рожь там, ни пшеница.
«Нео-рашен» наш — и сыт, и пьян.
На его асфальте все родится!
Привести такого вот сюда,
носом ткнуть: смотри — твоя работа —
превратилось в мертвое болото
то, что жизнью полнилось всегда!..
Не покаяться — не исцелиться...
Более всего себя виня,
каюсь: в пропастях твоих, столица,
среди многих погибал и я...
Вал словес катился безоглядно,
полуправд и полуистин вал,
по стране, где было все неладно...
Я — ему катиться помогал...



Не утешусь: не прямым участьем
(мол, от лжи хранил себя, как мог),
ибо и молчаньем сопричастен,
ибо более себя берег...
Русский дом — горящая обитель.
Слово нас Господне не прожгло:
«Без Меня не можете творити
ничего». Все прахом и пошло...
Шире, шире «мерзость запустенья».
Приговор Господень «Без Меня...»
слышен ли? Придет ли отрезвление
посреди великого огня?..
Сатана хитро расставил мрежи.
Кружит над страною воронье.
Распинатели России те же,
что распяли Господа ее...

Нам нельзя забыть ни на минуту
страшный путь к кровавому греху.
Надо знать: подбивший Русь на смуту
снова остается наверху.
Сатана, диавол — его имя.
Ежели не сбросить его власть,
русских нас не будет и в помине,
нам одно останется — пропасть.
Иль утешимся таким итогом?!.
Вот на чем сегодня каждый стой:
дастся нам победа только с Богом,
только с Русью, ставшей вновь святой.
Зоркими должны быть ум и сердце.
Слепотой не занедужим впредь.
Надо нам в самих себя взглянуться,
чтобы бесов мрежи разглядеть.

«С нами Бог!» — поется в наших храмах.
С нами Бог! Пусть в каждом будет храм!
С нами Крест Святой! Увы, кровавых
мы еще не свергли пентаграмм...
Но пред их горнем богомерзким
будет наш народ светло храним
благоверным Александром Невским,
благоверным Дмитрием Донским.
Русичи! Спасенъя не отвергнем
и святую веру отстоим!
С нами наш игумен отче Сергий,
с нами дивный отче Серафим!
Нам ли пропадать средь бездорожья?!

Нам ли погибать от вражьих стрел,
коль взяла Россию Матерь Божья
в неотмений третий Свой удел?!

Верю: исчезнет наважденье,
мгла долгонедужия страны!
Трудное настанет отторжение
всей спопешней силы сатаны!
Как ни бесновался хор зловоальный,
как он яд и желчь ни изливал,
близ Кремля, среди Первопрестольной,
ХРАМ ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ возстал!
Русь переживет пресуществленье!
Все твои печали, мой народ, —
слезы, кровь, страдания, мученья —
все однажды радостью взойдет!
Верю: дивный свет Преображенья
здесь однажды вмиг преобразит
то, что предо мною в умаленье
(в умерщвленности почти) лежит!



Меж звездой вечернею и мной
ни-че-го, что помешать могло бы
слышать нам друг друга. Боже мой,
тишина какая!.. До озноба...
И под эту ледяную тишину
тут, в глухи, как на задворках века,
вдруг избы молчанье ощущишь
рядом, как молчанье человека...
Помолчим, объятые тревогой.
И да будет каждый миг наш свят.
Так молчат пред дальнею дорогой.
Так пред сечей грозною молчат.
Помолчать — не значит отмолчаться.
К празднословию отбросив страсть,
с мыслями нам надобно собраться,
дабы в ту же пасть нам не попасть!..

О, какою силой приворотной
северные дышат небеса!
Светлые бесплотные полотна —
ангельские крылья? паруса?..
Розовое. Бело-золотое...
Верно, свет Фаворский был таков...
Над безмолвьем вечного покоя —
немота предивных облаков...
Соприкосновение с незримым...
Тайное, щемящее дохнет,
что на Севере разлито в зимах,
что и в осенях его живет...
Завтра в путь отправлюсь я, с рассветом.
Вряд ли вновь приду сюда уже.
Но благоухание об этом
навсегда останется в душе...

Глубже, глубже в сумрак погруженье.
Мир заречный весь уже размыт.
Но шепчу я: «Свет Преображенья
здесь однажды все преобразит!..»
Рядышком покряхтывают доски:
избяное в думушке чело...
Словно прозревая свет Фаворский,
в блеске все оконное стекло.
Как я ощутил избы усилие —
празднество всесветлое прозреть!
Не изба, а птица! Ей бы крылья —
тут же попыталась бы взлететь!
Или ей, стоящей одиноко,
вовсе, может быть, ни до чего —
в стороне от бурь, страстей, пороков
века сумасшедшего сего?..

Как горят далекие миры!
Дышит переливчатое пламя.
Словно бы бесчисленные костры
в глубине небес горят над нами....
Разве тут не перекрешишь лба,
не прошепчешь «Господи, помилуй!»
Впала перед этой дивной силой
в крепкое молчание изба,
в тихое святое забытье —
под всевластью звездного пожара...
Мне уже не разбудить ее,
не развеять колдовские чары?..
Жизнь вернется ли сюда опять?..
Или ей в тщете долготерпенья,
стиснувшись — бревно к бревну, — стоять,
сжав их, как персты, до онеменья?..



Червь сомненья вдруг прожег огнем:
 «Тут во всем — надсада и усталость.
 Схватка бытия с небытием
 здесь уже свершилась, состоялась...
 Что в таких остывших старых стенах,
 где любая вещь зовет назад,
 сможешь ощутить ты? — Запах тлена
 и ушедшей жизни тайный взгляд...
 Что среди вот этой немоты
 мертвого почти что Верхнеунжья
 вознамерился расслышать ты?..
 Бормотанье, бред долгонедужья?..
 Да, неисцелимого уже.
 И себя обманывать не надо.
 Только мука лишняя — душе.
 Только сердцу — лишняя надсада...»

Чур меня, коварный шепоток!
 Знаю: чей ты. Ведаю: откуда!..
 Сердцу русскому и горе — впрок,
 во спасение любое худо!
 Нам печаль — не судия верховный,
 не владыка над грядущим днем.
 Всюду слышу здесь урок духовный,
 всюду вижу здесь его — во всем.
 Мир родной накрыла туча глухо?..
 А глядишь: она же, в свой черед,
 крепким равновесием меж духом
 и суровым миром предстает!
 Вдруг в душе усталой обернется
 светом лучезарным грозный мрак.
 «Сей слезами — радостью пожнется!» —
 мой народ сказал когда-то так.

Растолкавши звезд великий рой,
 взвихив крышей млечные завои,
 превеликой чудною скалой
 вздыбилась изба передо мною.
 Словно бы всерусский некий дом,
 всталая неоглядная машина!
 Окна пышут радостным огнем,
 жаром раззенелись соловьино!
 Молний голубые пламена
 пробегают по углам и стенам...
 Вознеслась, возвысилась она,
 вырвавшись из тягостного плена!
 И во все ночные небеса,
 в радости, неслыханной доселе,
 бодрые, что громы, голоса
 ясной русской речи возгрели!..

Дивное там пение и смех,
 озорные шутки-прибаутки,
 птичий пересвист из-под застreh,
 птичья радость утренней побудки.
 Солнце неурочное взошло?
 Ночь пред ним вдруг двери распахнула?
 Лада превеликого тепла
 в темени мне душу опахнуло.
 О, как он счастливо в небо взмыл —
 Русский дом, во всей красе и силе!
 Вот таким он и задуман был
 Господом, под именем РОССИЯ!
 Весь, до малой-малости, живой!
 Полон весь веселости весенней!
 Словно мировой ковчег спасенья
 в океане ночи предо мной...



32

Кратко озарился и... померк...
Лишь мерцанье звездного потока...
Снова мы — изба и человек —
утопаем в темени глубокой...
Родничок один лишь, не спеша,
под горой о чем-то все лопочет...
Дивно осиянная душа
света преисполнена срдь ночи.
Словно бы открылось для меня,
в пережитом только что мгновенье,
беззакатного осьмогодня*
радостное, чистое горенье...
Звездный омут надо мной кипит.
И, лицо подняв, глаза прикрою:
вот он — снова окнами слепит —
Русский дом! Сияет предо мною!..

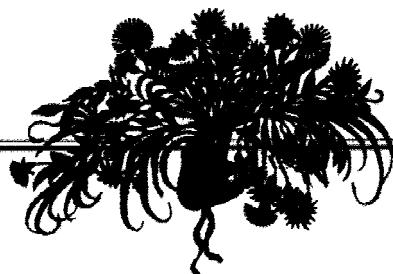
33

Чем не постращает впредь судьба,
посреди любой печали-хвори
вознесется предо мной изба,
над рекой стоящая в дозоре!
«Ни-че-го, — шепчу я, — доживем!»
«Ни-че-го, — шепчу я, — превозможем!
Озарится светом Русский дом,
весь омоется в сиянье Божьем!..»
И изба (почудилось?) вздохнула,
будто среди грезы или сна:
вот же — только что — себя взметнула,
вознесла светло го р е' она!..
Я щербатый угол робко гляжу.
В нем тепло живое под рукой...
Было это во второй стражу
русской ночи. С нею. И — со мной.

* Одно из названий будущей вечной жизни. Время земной жизни мы измеряем седмицами. Времени не будет. Будет беззакатный осьмой день.



ЗИМОВЬЕ



К

ЗИМОВЬЕ

1

ак будто для меня могилой стала избушка та — чуть больше шалаша. Как в глыбе льда уснувшая душа живой воды, в ней тишина стояла. Дымилась закуржавевшая дверь, курилось непроглядное оконце, не помнящее ни звезды, ни солнца, глядящее, как смотрит мертвый зверь. Углы мерцали вечной мерзлотой, а потолок накатный — антрацитом. На воле океаном ледовитым тайга вздыхала-ухала порой. К той мощи, к воле безграничной той из тесноты охотничьей «берлоги» я выбрался и замер, как слепой, не чувствующий под ногой дороги...

Такого дня не знал, не помнил я...
 Каким разящим полыхала светом
 напарника, ушедшего с рассветом,
 проторенная от дверей лыжня!..
 Как будто связь последняя со всем,
 что для меня мир дальний означало...
 Стоял я долго, недвижим и нем,
 и снегопадом, легоньким сначала,
 ее при мне засыпало совсем...
 Вокруг меня в зенит летели ели
 с той скоростью, с какой легчайший снег
 на землю падал. Тихо, еле-еле
 касались хлопья щек моих и век.
 Под щекотанья те, прикосновенья
 лицо поднимешь — взгляду предстает
 громоздкое миров коловращенье,
 бесчисленных мертвых звезд слепой полет.

Не снегопад, а тиховейный сон,
 сродни который вечному покою.
 Казалось: и во мне неслышно он
 все выбелил, окутал белизною.
 Во мне, белее чистого листа,
 жизнь прежняя моя в тот час лежала,
 и был тот час — как первая верста
 пути, в котором вся судьба — сначала.
 Рябиновую ветвь чуть тронет клест —
 повиснет снеговая пыль завесой.
 Как мир вокруг был первозданно прост:
 за лесом — лес и снова — лес за лесом,
 за снеговой завесою — завеса...
 И для меня, объятого безмолвьем,
 беззвучием таежного угла,
 был белый свет одним глухим зимовьем,
 зимовьем вся вселенная была...

Потом с ведром задымленным в руке
 спустился я (верней — почти скатился)
 к еще не всюду скованной реке...
 Над темной польньей, невдалеке,
 хиреющий парок едва курился.
 Как над чужим полуночным окном,
 склонился я над этой польньею,
 забыв — зачем подкрался к ней с ведром...
 И польнья открыла предо мною
 мир как бы и не зимний... Подо льдом
 «ходили» над цветными голышами,
 чуть шевеля седыми плавниками,
 самцы-лососи. Мрачная их рать
 с шугою не скатилась к океану,
 а тут осталась, чтоб нести охрану —
 бесчетное потомство защищать.

Глотала хлопья жадная вода.
 Казалось, что в нее, без останову,
 ввергаются неслышно невода...
 Для некого чудесного улова?..
 Валились хлопья, все вокруг глуша.
 И понял я — сын суэтного века:
 зачем приходит в этот мир душа
 со зрением и слухом человека.
 Внять чистоте! Все прочее — есть бег
 от сущности своей, своей природы.
 Ах, не напрасно русский человек
 средь белизны живет почти полгода!
 Ах, не напрасно, не напрасно в нем,
 едва ль не с самого его рожденья,
 так много связано с тишайшим днем,
 в котором — только белое круженье...



Такие дни не зря дает Господь!
Невольно захотелось шапку скинуть
и — горстью снега — по лицу: остынуть!
Остынуть! — и ко лбу прижать щепоть...
В такие дни — лишь слушай да молись.
Средь них тебе дана такая сила,
что с выдохом одним в седую высь
все выдохнешь, что мучило-томило.
В такие дни во глубине России
на белый лист слетают вдруг слова
о том, как «снег летит на храм Софии»*,
и белизной одной душа жива.
В такие дни она живет не в теле.
В такие дни ей мир бывает мал.
О, белый плен буранов и метелей,
в котором каждый русский побывал!..

О, русская душа! Твоя загадка
решается так просто в тишине
какого-нибудь зимнего распадка,
где русский сам с собой наедине.
Она раскроется легко и зrimo
в его дороге, в смутный час пурги,
в отшелынических, скитнических зимах,
в тиши зимовья — посреди тайги...
Взгляд зимнего российского простора...
Как много он всегда мне говорил!
Он взглядом то печали, то укоря,
то взглядом мудрости простиившей был.
Мы этим взглядом с малых лет живем.
Знакомо нам, едва ли не с рожденья,
как у воды, холодным серым днем,
вдруг изостряется и слух, и зренье...

* Страна из стихотворения Н.Рубцова.

По мелочам с ничтожным бытом споря,
от суэты сует сбиваясь с ног,
не помним мы — в каком великом море
любой судьбы качается челнок.
И вдруг — избушка, белое молчанье.
Покой — в самой метельной кутерьме.
Одни неуследимые мельканья —
что мысли в засыпающем уме...
Земное перепуталось с небесным.
Мерещатся легчайшие шаги...
И колыбельный шепот (сквозь завесы)
всеведущей, всеслышащей тайги:
«Ты здесь затем, чтоб слухом быть и думой,
ты здесь затем, чтоб словом быть и взором
всех этих дебрей, диких и угрюмых,
живой душой уснувшего простора...»





В

ПОД СНЕГОПАД

Русская дума

I

от простенькая тема — снегопад.
За окнами легко кружатся хлопья.
Какое там у них нерасторопье:
летят себе — как сотни лет назад.
В каком столетье ты к стеклу приник?
Вон — на обочине, под косогором —
уляпанный грязюкой грузовик,
еще до снегу брошенный шофером.
Да вон еще — телеантенн шесты
над избами торчат напоминаньем,
что все-таки в своем столетье ты,
а не в каком-то там дремуче-давнем...

Но чем не благо — оказаться сзади,
«в обозе», там, где все — не второпях,
и седины отшельнической, прядей,
почувствовать прохладу на плечах?!.
Побыть с самим собой, самим собой
в отшельнических, скитнических зимах,
когда лишь шорох снега за стеной
да взыханье неких сил незримых.
Куда ни глянешь — глушь да белизна.
Весь белый свет — один медвежий угол.
И кажется: с тобой вознесена
до поднебесья белая округа...

Лицо поднять — и вот перед тобой
не снегопад, не сумрак снежной тучи —
мельканья буквц книги неземной,
которая за вечность не наскучит.
Ее читал ты столько долгих лет!
Ты столько лет входил в ее мотивы!
Ты в колыбели был еще, но — диво —
тебе был внятен этой книги свет.
Стоять пред ней, губами шевеля,
запоминать небесные глаголы...
Ты так же чист, как белые поля.
Ты — первоклашка самой древней школы...

II

Вот — вспомнилось: из школы, в дни войны,
вернешься, бесстелесный с голодухи,
и вдруг завыются белые-то «мухи»
средь серой заоконной тишины...
Есть тихое целительство у нас,
целительство дождем и снегопадом.
Русь за окном — в печали, без прикрас,
но под ее спокойным кротким взглядом
тебе забыть о бедах — в самый раз.
И в избяной задумчивой тиши,
средь бедного, безрадостного быта,
вся музыка грядущая души
тебе уже заранее открыта...

И Ангел — твой хранитель — за спиной.
Его крыла эфирную прохладу,
как мягкий снег, почувствуешь щекой...
Тебе с е г о не задавали на дом?..
Но для тебя в минуте этой — все,
всей жизни твоей будущей дорога.
Д о м а ш н е е з а д а н и е твое
тебе не школой задано, но — БОГОМ.
Идет урок великий — с н е г о п а д .
В тебе самом (не в заоконной неге)
его завесы зыбкие висят,
в тебе, безмолвном, и д у т б е л ы с н е г

и



Среди утекших, ускользнувших дней
переболел ты разным сопричастием,
всем довелось там быть душе твоей —
туманом, ливнем, моросью, ненастьем...
И — вы沟ой, и — буроном затяжным,
и — скорбною шуршащею поземкой,
но чаще — снегопадом вот таким,
в котором все — неспешно, все — негромко.
Все приняла душа, как бы в залог,
от непогод минувших, незабытых.
О многом бы свидетельствовать мог
ты из глубин мгновений пережитых.

III

О сколько раз лишь легкою порошкой,
среди студеного глухого дня,
тревоги груз, как давящую ношу,
умел ноябрь спокойно снять с тебя!
Овеяна вся память русским снегом.
Все выбелил в ней чистый первый снег.
Бывал он и вторженьем, и набегом,
и странником, пришедшим на ночлег.
Он утречком исчезнет, растворится,
лишь снежницы-воды везде следы...
Но горе в нем успело осветлиться,
в нем прояснили сумерки беды...

Он — как напев, в котором вольно слову.
О чем бы ты не размышлял, а лад,
а дух, а главную всему основу —
все задает, все держит с него пад.
И время, кажется, уже стоит...
Уйдешь в себя. Очнешься от забвенья.
А на дворе — снегжит, снегжит, снегжит...
Кружатся хлопья — прошлого мгновенья...
И часом длится каждая минута.
И в снегопаде ни проходу нет
и ни проезду... Только — глушь и смута,
один лишь колыхливый белый свет...

И эта белая густая сень
(белей тумана и покоя тише)
собой накрыла столько деревень,
глубинных городов и городишек!..
Замри, забудься вместе с ними, нем,
под чуткой охраняющей рукою...
Ты сам вдруг стал, как эти хлопья, всем —
заречным лесом, белою рекою...
И слух в тебе, под эту тишину,
такой, что в некий миг легко помнится,
что можешь ты услышать всю страну —
до самой дальней, островной, границы...

IV

В такие глуби залетел твой взгляд,
что кажется: из этих глубей-далей
уже не может быть пути назад...
Ему не оторваться от печалей
седых небес... Не просто хлопьев рой —
свергаются, летят к тебе, без шума,
все души живших-бывших пред тобой,
все их тревоги, горести и думы...
Не за горами в е ч н о с т ь тут сама.
Да вот она — пред самыми глазами —
под именем обыденным з и м а...
Пред вечностью, пред вечностью ты замер...

Да, остается только замереть
и пережить такое озаренье —
в чудесном ослепляющем мгновенье,
что можно навсегда уже прозреть!
Дальнейшее?.. «Дальнейшее — молчанье...»* —
как было уже сказано давно.
Одни немые промельки, мельканья,
безмолвие, безмолвие одно...

* Шекспир.



Ни в чем определенности, границы.
Смотри в пространства сквозь проем окна:
коль это все тебе теперь лишь снится,
так милосердней быть не может сна...

Есть состояние небесной тверди,
которое поймет лишь русский взгляд,
которое ни Моцарту, ни Верди
не выразить. Лишь русский снегопад,
зависнувший над русскою равниной,
музыкою безмолвья одного
и тиховейной кротостью единой
так просто может передать его.
Он все в себе, как в море, растворил.
Все празднует друг в друге растворенье,
над всей округой — шелест белых крыл,
над всей округой — ангелов круженье...

V

В такие вот заснеженные дни
твои уходы в глуби созерцанья
молитвенному подвигу сродни
иль подвигу обетного молчанья.
И нет уже ни в чем дорожки узкой,
живут в тебе свободно в тишине
тепло и свет молитвы древней русской,
с задумчивостью русской наравне.
Пожалуй, только на Руси святой
(в такие дни, в тиши таких вот келий)
так побелеть способен свет дневной
от посетивших вдруг тебя прозрений.

Твоя душа, душа родной округи...
Как слил, соединил их снегопад!
В какой они печали друг о друге!
И как они друг другу болят!..

Как странно грезится под этот снег...
Свою судьбу с твою слив судьбою,
твой «сокровенный сердца человек»
на мир глядит впервые так с тобою?..
Как часто жили вы друг с другом врозь,
все — в толчее мирской, все — в недосуге!..
И вот родство, под этот снег, сбылось —
святое растворение друг в друге...

Легко тебя с собой соединив,
так рад он этой тишине глубокой!..
И вдруг придет Чайковского мотив...
И грянет вдруг Свиридов зимней тройкой...
Вдруг Сурикова наплынет тоска,
где Меньшиков в Березовской обиде,
где в проклинающем безумном вскиде
боярыни Морозовой рука...
То вдруг — иная из былого весть...
Как запросто простая непогода
сказать тебе умеет: кто ты есть,
какой страны ты сын, какого рода!..

VI

В такие дни в одно уединенье
тебе желанен молчаливый путь.
Тут взглядом повстречаться с кем-нибудь
(хотя бы и на краткое мгновенье) —
в зияющую бездну заглянуть...
Забудешься в беззвучье круговом
средь чутких стен, как посреди пустыни,
и зимний день увидишь пустырем —
в седых кустах репейника, полыни,
в разящей, нестерпимой белизне,
в былинках мертвых, в их унылой дрожи...
И в некий миг, как будто в тонком сне,
Бог на душу тебе печаль положит...



И на уста наложит Он печать
молчания, которого нет выше.
И не вздохнуть, и слова не сказать —
дабы Его молчание услышать!..
Но и твое молчанье слышит Он.
Так это для души твоей открыто:
ты Божиим вниманьем окружен,
с тобой Его любовь, Его защита!..
Его печаль высокая с тобой.
И так душа печалью той согрета,
что только и прошепчешь: «Боже мой!..
Как мне благодарить Тебя за это?!.»

Как много для тебя открыто в ней!
Как с нею для тебя открылось много
тревожных, но спасительных путей!
Любой из них — великая дорога.
И что светлей возможности — взглянется
в их скрытую за снегопадом даль?!.
Для белизны открывшееся сердце
не ищет дара выше, чем печаль.
Да и не может дара выше быть
дарованной тебе высокой доли —
любому вздоху за окном платить
с лихвою плату — дань ответной боли.

VII

Тут речь — совсем не об особом свойстве
твоей души. Во все-то времена
из русских кто-нибудь в самодовольстве
стоял ли у метельного окна?
Ответ один отыщется — е д в а л и.
Буранное, метельное окно
в нас, русских, пробуждало свет печали,
иного тут нам, русским, не дано.
Но свет ее нам был не в расслабленье.
Под этот свет, среди любых разруш,
слух истончался, изострялось зренье,
душа яснела, укреплялся дух.

Когда бы пред стеною снежной немо
мы у окна ни погружались в грусть,
лицом к лицу стояло с нами небо,
лицом к лицу стояла с нами Русь.
И от окна мы молча отходили
(все передумав, все перерешив),
как бы в бурной широте и силе,
храня в себе решимости порыв,
храня в себе все шепоты и звуки
зavalенного снегопадом дня
и тишину исповедальной муки,
как благодать небесную, храня...

В себя, в свое заветное уйдя,
ты знаешь: иногда так это надо —
пройти дорогой ветра иль дождя
иль погрузиться в думы снегопада,
почувствовать рассвета откровенье
и с ним тебя связующую нить
и подлинностью каждого мгновенья
в себе себя тихонько воскресить,
как следует во все вокруг взглянется
под ветровые песни непогод...
Смятенный ум, заслушавшийся сердца
и мира, к тихой ясности придет...

VIII

Как прояснели древние названья —
о к о л и ц а, с о р о к а, г о р о д ь б а!..
Но как печальней стали и туманней
такие, как д о р о г а и с у д ь б а!..
Ах, что с у д ь б а?!. И где она — д о р о г а?!.
Все растворил в себе легчайший сон.
Весь зримый мир великой думой Бога
светло и милосердно посещен.
От этой высшей мудрости вкуси.
В ней память многих русских поколений.
Дожди да снегопады на Руси —
сочество небесных откровений.

Вон — человек под хлопьями идет
не торопясь. Сутулится устало.
Он неужели тем же не живет,
что здесь тебя к окошку привязало?!.
Не может быть. Средь русских непогод,
среди снегов, клубящихся над Русью,
единою душой живет народ,
единой думой и единой грустью.
Во всем, во всем — единый дух и лад.
Все сделал снегопад единым целым.
И взгляд мальца, и старца кроткий взгляд
блуждает в этот час в пространстве белом...

Такой же снегопад, как и у нас,
такая же тишайшая суббота,
быть может, над Норвегией сейчас...
И так же там в окошко смотрит кто-то...
В какой-нибудь провинции Тай-бень
елеподобных пагод многокрышье
под хлопьями... Глухой китайский день,
китайское глубинное затишье...
Но... русский снег... Но... русский снегопад...
Таится в нем своя печаль святая.
И русская душа, и русский взгляд
живут в нем, в каждый миг его врастая...

IX

Вот — пушкинская вдруг пришла строка,
и шепчешь ты, в своем уединенье,
ее:
«Бывают странные сближенья...»
Тебе близки далекие века...
На тишине вокруг тебя — засов,
не скрипнет дверь в мир суety и шума.
Час сокровенных помыслов и слов.
Есть белизна, окно, покой и дума...
Итак, присядь тихонечко к столу
и, времени не ведая закона,
седых веков раздвинь легонько мглу
и погрузи себя во время о н о...

В котором чувствам — воля и покой,
в котором все — возвыщенно и свято,
когда душа сливается с душой
и нет уже на свете душ разъятых...
А снегопад — и есть само о н о'.
День — по-келейному — житьеписанье.
С тобою два источника сиянья —
лист белый и белейшее окно.
Два дивных света твой пленили взгляд.
Предтеча твой далекий — Нестор? Пимен?..
Ну что ж — начни: «Се повесть...» Снегопад
тебя спокойно уравняет с ними...

Ох, не впервые такое, не впервые
душе твоей дано великоснежье.
Да, столько раз случалось в жизни прежней
тебе тонуть в печали снеговой!..
И тесно было в собственной судьбе.
В твоих (под снегопад текущих) бденьях
история Отечества тебе
являлась в потрясающих виденьях.
Сквозь сети хлопьев слышался набат.
Тьмочисленная конница летела.
То был огнем великим ты обнят,
то в горестях душа там леденела...

X

Такие открывались вдруг пути,
и разверзались вдруг такие дали!..
«Куда назад идти — вперед идти...»*
И возвращался ты из них в печали.
За свистом ветра русского, за воем,
сквозь хлещущий, летящий косо снег
такое приоткроется вдруг поле,
которому название — т в о й в е к...

* М.Цветаева.

В нем та еще безумствует пурга!
В нем те еще бичуют душу свисты!..
Куда ни кинься — торжество врага...
Куда ни сунься — всюду дух нечистый...

Русь заблудилась в белом бездорожье.
Проводники — злодей да лиходей...
Одно лишь и прошепчешь: «Боже! Боже!..
Не дай погибнуть средь напастей ей!..»
А сумерки буранные все гуще...
Все существо твое прохватит дрожь.
И в тайном созерцанье бед грядущих
под снеговую завертъ обомрешь...
И за стеною хлопьев, вскось летящих,
вдруг стон рассльшишь... Это — твой народ?!.
Как бы подранок затаялся в чаще,
но боль его стенаньем выдает...

Тебе не оторваться от окна,
от этой суэты многомятежной
пушистых хлопьев, от печали снежной...
Печали день. Ты — в ней, в тебе — она...
Кричат? Рыдают? Стонут — за окном?..
Вдовицы безутешные? Калеки?..
В каком погибельном буранном веке?..
Ах, не в каком-нибудь — в твоем, в твоем...
Великая, святая тишина.
И в ней — лица прекрасного бескровье.
Измученная Родина больна.
Не у окна стоишь — у изголовья...

XI

Слепые хлопья вьются, мельтешат,
друг к другу льнут, пугаются друг друга...
Бинтует Русь больную снегопад,
но пятнами кровавыми горят

рябины... Не прикрыть никак недуга...
Вон — у сарая, с южной стороны,
два снегиря иль капли две багряных
на кустике репейника видны?..
Средь белизны — следы смертельной раны...
Снегирная, снегирная пора.
Снегирная, снегирная погодка.
Из посвистов печальных был с утра,
из хлопьев частых мир кисейный соткан...

Снег — бережный, пушной. Снег — кидь и падь*.
В нем растворились времена и сроки.
Оставь в покое чистую тетрадь:
снег сам напишет в ней косые строки.
Ведь столько раз бывало так с тобой:
вдруг замирал ты над листом бумаги,
и на листе сияли чистотой
горошины оставленной им влаги...
Неодолимее любых хвороб,
в тебя проникла снеговая сила,
и на плечах вдруг ощутишь сугроб,
и голову как будто оснежило...

Н-да... «простенькая тема» — снегопад...
И ты забыть о ней уже не волен.
Всевидящим становится твой взгляд,
и чуткий слух — всеслышищим, до боли...
Великая ссугуленная тень
прошла, таясь в завесах снегопада...
То не твоя ль душа открылась взгляду
в виденье кратком, многоснежный день?..
Иль эта тень — душа самой зимы?..
Мелькнула в драном нищенском салопе...
Вон как из дыроватой котомы
осыпалось!.. Стена, стена из хлопьев!..

* кидь и падь (древнерусск.) — крупные снежные хлопья.



XII

Есть в снегопадах миг прикосновенья —
прикосновенья к жизни неземной.
Твоим дыханьем, горним дуновеньем
замглилось вдруг окно перед тобой?..
В руке твоей святая осторожность.
Рука не стерла, как бы отвела
туманность эту, чувствуя возможность
присутствия чудесного тепла,
проникновенья Божьего дыханья
втишайший миг земного бытия...
Не снеговала рядом колыханье —
риз, белых риз колышущихся края...

Пути Господни — неисповедимы.
Но веришь ты, что в полднях вот таких
не пролегает, не проходит мимо
твоих раздумий ни один из них.
Все, все вокруг тебя — б о г о х р а н и м о .
Во всем вокруг тебя скрылся Бог.
Ты от Него, живущего незримо,
в сем полдне отстоишь — на волосок...
В такой тиши у каждого порога
оставлен след чистейший на снегу
земным печалим внемлющего Бога.
Все, все замкнулось в святости кругу.

Под это тиховейное клубленье,
весь утопая в зимнем колдовстве,
вдруг ощутишь, что память и забвенье
слились в тебе в немыслимом родстве,
в единстве оказалось неотменном
то, что в тебе должно бы жить лишь врозь.
В двух состояньях ты — одновременно.
В тебе родство чудесное сбылось.
Свет памяти-забвенья пред тобою —
как родничка полуденного дно.
Забвеньем светлым, памятью святою
в жизнь подлинную нам войти дано...

XIII

Да, и забвеньем — непростым отказом
от всего, что сердце нам язвит,
что помрачает душу в нас и разум...
Захлопнуть дверь в хранилище обид
и больше к ней уже не возвращаться.
Святая память... Лишь она одна
останется с тобою, будто святцы,
в которых все родные имена...
Увы, не убежать от осознанья
того, что в жизни завтрашней твоей
тебе не сохранить сего сиянья
среди многомятежных, быстрых дней...

И горько знать, что в час вот этот где-то
сбиваются в погоне вечной с ног
те, для которых нет печали этой,
которым время — деньги, деньги — бог...
Дуреет мир от пустоты мельканий.
«Покоя нет...»* И снов о нем уж нет...
Дуреет мир от преизбытка «знаний»,
от преизбытка ложных упований,
от преизбытка суеты сует...
Несутся дни (для многих — душегубы).
Среди погони оглянись назад:
великие Руси пустыннолюбы
из глубины ушедшего глядят...

Нам непонятна и чужда их воля —
оставить мир, где души губит враг,
их жажды немоты святой, безмолвья
«пустыни сладкой»... Сладкой! — вот ведь как!..
Так далеки мы все от этой жажды
среди волнений наших и хлопот!..
Случиться, впрочем, может вдруг — однажды
миг проясненья странного мелькнет...
Так ночь грозы в безумном озаренье
(когда весь мир — тревога и вражда)
вдруг вспомнит чей-то профиль на мгновенье
и тут же позабудет навсегда...

* А.Блок.

XIV

Да, все — на миг, на кратенькую вспышку,
и вспышка-то такою чтоб была,
что если б и коснулась, то — не слишком,
не ослепила чтоб, не обожгла!..
Она не завершится громом-стоном,
а так — лишь воздух сотрясет слегка...
Она — как бы взлетевшая рука
вслед мимо пробегающим вагонам,
в которых горе и тоску везут
(а машущему кажется — у д а ч у).
За грохотом-то, чудится, — поют...
Ан не поют. А в голос плачут...

О, сколь грустна погони нашей повесть!..
Пока ты не совсем «загнал коня»,
взгляни: как далеко отсталая совесть
от твоего стремительного дня!..

Брат! Подожди! Повремени немного,
прислушайся, как шепчется беда,
какой тоской гудит твоя дорога,
как будто ноют-стонут провода...

К окну приникни или выйди в поле,
постой среди просторов горевых...
Ты никогда еще не слышал боли,
которая стенает-плачут в них?..

Под стоны их, под шепот их знобящий,
средь разоренной о т ч и н ы твоей,
средь белизны, вокруг тебя горящей
огнем небесным, в миг святой прозрей.
Слух изостри и взор. «И виждь, и внемли».
И пред тобой откроется о н а.
Иди в ее бураны и метели,
неведенья оставив времена.
Но как с ним жить тебе — с прозреньем этим,
под безоглядность наших дней, их прыть?..
На это вопрошанье что ответим?
Ответ один: лишь с н и м и стоит жить.

XV

Как ловит хлопья помертвелый сад...
То ль сам попал он в частые их сети?..
Они ж меж пальцев скрюченных летят,
развятся, словно маленькие дети...
Вот накружится их безмолвный рой
среди его замысловатой черни,
и разольется по земле покой,
чуть розоватый от зари вечерней.
И ты небыстрым взором оглядишь
село неизнаваемо-иное:
холодный, пышно взбитый сахар крыши,
седых садов плетенье кружевное...

Ну, а пока перед тобой оно —
сон снеговала, снеговая мара:
в колышущейся мгле растворено,
как бы в дыму незримого пожара...
Ты не затем ли оказался в нем,
что твоего тут не хватало взгляда?..
Здесь невозможно жить о т п у с к и н о м.
И вот ты стал, под шепот снегопада,
печальником полузыбтых мест...
Ты видишь, как над каждой избою
навис он (вместе с тучей снеговою) —
непреподъемный здешней жизни крест...

Тебе открылись глуби всех годин,
их самые погибельные дали.
Увы, таких погибельных глубин,
как нынешние, на Руси не знали...
Прислушайся: не слышно состраданья
бессчетно гибнущим в потоке дней...
Свершается, свершается закланье
народа твоего, страны твоей...
И на тебя нацелен взгляд упорный,
взгляд судящий. Тебе известно — чей.
Где нынче путь найдешь ты неукорный
для памяти, для совести твоей?!



XVI

Великое безмолвие страны,
 униженной страны, страны великой...
 Страна твоя пустеет без войны,
 становится почти пустыней дикой...
 Год от году все мглистей и пустей,
 все молчаливей он встречает зимы —
 мир юности, мир юности твоей,
 состарившийся столь необратимо...
 Избыток жизни ощущал когда-то
 ты здесь. И вот, смотри, перед тобой
 чуть зорим ее хиреющий остаток
 за этой канителью снеговой...

Взгляни на эти избы: все они
 стоят как бы в бессрочном ожиданье...
 «Храни, Господь! Храни, Господь! Храни...» —
 само собой слетает с губ шептанье.
 Тебе известно: сколько среди них,
 стоящих слепо в этом дне и глухо,
 заброшенных, покинутых, пустых
 или с одной хозяйкою-старухой
 забыто доживающих свой век...
 Невиданное в них вцепилось лихо.
 Их пред тобой как бы хоронит снег,
 заваливает, засыпает тихо...

Ох, эти вездесущие шесты
 телевизоров (как будто над кладбищем,
 погостом странным, странные кресты)...
 И взгляд живых средь изб невольно ищет.
 Но редко где над крышами дымы
 шатаются под ношей снегопада...
 Едва-то машут: дескать, живы мы!..
 Слаба, слаба в том для тебя отрада...

XVII

Как быстро все случилось-получилось!
 Считай: за срок неполный твой земной.
 Все погрузилось в серость и унылость,
 как бы покрылось пеплом и золой.
 На всем, на всем — дыханье антиверы.
 Так внятна мне во всем ее вина:
 она все сделала уныло-серым,
 пылеобразным, именно она.
 Изъятая из жизни русской скрепа —
 святая вера, без нее, увы,
 все пусто, все никчемно, все нелепо,
 без сердца, без души, без головы...

Вон — загляни в соседский пятистенок.
 Там никогда не видно огонька.
 Жилище, превращенное в застенок,
 где в палацах — зеленая тоска.
 Хозяин там — сорокалетний призрак.
 Над ним и измывается она.
 Не жизнь — по жизни муторная тризна.
 «От стакана она — до стакана»...
 «От поднесенья и до поднесенья»...
 Не знает он ни Бога, ни Креста.
 Жизнь без просветья. Жизнь без просветленья...
 Жестянка-жисть. Она — пустым-пуста...

У призрака есть имя — Сарков Саня.
 Насквозь проехал Саня всю страну.
 Нашел наш Саня истину в... стакане,
 на дне его. И сам пошел ко дну...
 Вернулся на родное пепелище,
 и найденная истина — при нем.
 Он по селу родному ночью рыщет,
 зато нигде его не видно днем.
 Ни хлеба в доме у него, ни соли.
 Тоска шипит там изо всех щелей...
 Зато живет по собственной он воле,
 верней — по этой «истине» своей...



XVIII

Все пропито — до дедовской иконы.
Лишь стен родных пока не пропил он.
Найдутся здесь другие охломоны,
но он — всем охломонам охломон.
Чем занят он? Спит на печи холодной?
Иль, стоя у окна, под снегопад
себя терзает думушкой бесплодной:
«Где б на пузырь подраздобыть деньжат?..»
Вот так «пройдешься» вдоль всего порядка:
там — пусто, там — вдовица, там — алкаш...
Нет ни двора, чтоб было ладно-гладко...
Не жизнь, посмотришь, — слезный ералаш...

И вот — как бы хоронит снегопад
предавшуюся горькому бессилью,
живущую без пенсий и зарплат,
глубинную, печальную Россию...
Нет стен избы. Где за окном село?..
Навис и над тобою крест-громада.
И на тебя он так же тяжело
ложится под кажденье снегопада...
.Живешь среди России, а мечта —
в Россию настоящую вернуться!..
Какой тоскою может обернуться
перед тобой свет чистого листа!..

И мысль больная вдруг прожжет стрелой:
«Тебя всего-всего запорошило...
В стране полуубитой ты — живой,
живой, хотя и рядышком могила...»
Еще одной ногой пока ты в яви,
еще тобой торится путь земной...
Увы, увы, другой ногой ты — в нави...
И за окном как будто саван твой
ткет все усерднее зима-старуха...
Прислушайся: не механизм в часах —
постукивает бердо ее глухо...
Неуследим членок в ее руках...

XIX

Жить в вечности уже наполовину...
Вдруг что-то щелкнет, хрустнет за стеной —
в сенях промерзших... Проскрипит тесина...
И сердце екнет: это — за тобой!..
Как запросто умеет непогода
переплетать земное с неземным!
Есть в снегопадах тайная свобода —
принадлежать одновременно им.
Среди полудня — эта полутьма...
Вон — опущенная кивает ветка:
бездрадостна, безрадостна зима
в глубинках русских на исходе века...

Знакомый вдруг мотив набрел, как тень,
за краешком сознания живущий
и лишь своей минуты тайно ждущий...
Родился он в один с тобою день.
Вот первый твой раздался в мире крик,
твоя душа в земную жизнь проникла...
И, где-то за холмами, в тот же миг
процессия печальная возникла...
Несут твой гроб... Шесть, восемь человек?..
Не слышится ни плач, ни вздоханье...
Глубокое, спокойное молчанье.
Ряс черных колыханье. Тихий снег...

Вот среди лета, будто среди сна,
над бархатным ты замер махаоном...
И — вздрогнул вдруг: что в полдне раскаленном
за странная процессия видна?!.
Все то же колыханье черных ряс.
Все тот же снег... Видение сморгнется,
и возвратится детства тайный час...
Но... та процессия... Она вернется,
она не раз напомнит о себе —
среди тебе отпущенной отсрочки:
«Однажды будет миг в твоей судьбе —
вы повстречаетесь в какой-то точке...»

XX

О, сколько скорбных дум роится там,
где жизнь твоя — лишь первая страница!..
Тебе мотив такой не по летам?..
Но, высшей волей, он успел открыться.
И вопрошать не надо: для чего?..
Ответ однажды сам собой найдется.
Такой вот день преподнесет его...
Пока же он полуночным колодцем
чернеется, зияет пред тобой...
Глубок колодец. Нет в руках веревки...
И дышит глубина в лицо бедой...
И снег летит, летит без остановки...

Вон — за двумя оврагами — кладбище.
Едва видно оно сквозь снегопад.
Там, до СУДА, обрел свое «жилище»
твой горемычный одинокий брат.
Неподалеку от юнцов-«афганцев»
Войны Великой крепко спит солдат.
Такие же вот хлопья там по глянцу
эмалевых портретиков шуршат...
Сегодняшние русские погости —
печальная история страны:
все юными они «заселены»...
Простите нас! Простите, братья-сестры!..

Там что ни имя — то обрыв судьбы,
в начале самом. Это так знакомо!..
Да, цинковые и сюда гробы
частенько доставляют военкомы...
Как только не изводят нас теперь...
Куда ни ткнись — законы б е с п р е д е л а.
От горьких, неоправданных потерь
ты, Родина, так страшно поседела...
И для тебя зима сей саван тket?..
Помощнички — проруха да разруха.
Ее членок туда-сюда снует,
постукивает бердо ее глухо...

XXI

Вон — еле зrimый над пригорком храм.
Как день далек средь «выпускного лета»,
в котором ты венчался тайно там!..
Не доглядело око сельсовета,
и школа не поведала о том...
Господь хранил. На главы юной «пары»
не рухнул «сверху» рукотворный гром,
не навалились черной тучей кары...
Храм над селом вознесся, как пророк,
зовущий ввысь — сквозь толщи снежной тучи.
Он нем, как все вокруг, но — видит Бог —
и немота его святая — учит!

Учеников лишь не отыщешь ты...
Им подавай не Истину — химеры...
И вот торчат телеантенн шесты —
антикрести антихристовой веры.
Под ними и спивается село...
И так, считай, теперь — по всей России...
Однажды (и представить тяжело)
покажет телевещик лжемессию...
Что ж... почва взрыхлена, удобрена,
и сев идет под именем с в о д ы...
Отборнейшие плевел семена
посеяны в нее и дали всходы...

Да, нынче впрямь дана с в о б о д а нам —
не против власти: молитесь, коль хотите!..
Не молится и не идется в храм...
Увы, — не богомолец телезритель...
А коль его ленивая душа
о Боге вспомнит, так ему — без нужды:
по «телеку», удобно возлежа,
аж патриарши он увидит службы!..
Антихрист уже поднял свое знамя.
Чем оградиться сможешь ты, народ?
Вон этими антенными-шестами
или еще какими-то рожнами?..
Опомнись! Приготовься! Он — грядет...



XXII

Твоей рукой пред образом Пречистой
затеплен на рассвете огонек.
О, этот свет игольчато-лучистый —
и рядом он, и странно так далек...
Как будто он завис над всею Русью,
приосенил он все ее края...
С какою на тебя взирает грустью
Молитвенница верная твоя!..
Как светел лик Заступницы усердной!..
Пред Нею разрыдаешься ты готов.
Она — Свою волей милосердной —
над Русью распростерла Свой Покров.

Не саван! Нет! Ее Покров над нами,
над нашей горькой грешною землей.
Ее, Ее пречистыми руками
прикрыта Русь святою белизной.
Какие б каверзы не строил век
и как бы он не тщился нас запутать,
летит, летит исповедальныи снег,
спешит запеленать, укрыть, укутать...
О врачеватель глубьевой Руси,
ее старинный добрый покровитель,
брат милосердный, бережный целитель!..
Оборвалось спасибо на спаси...

Пройдя сквозь свежесть чащи снеговой,
беззвучное проникло в душу слово,
как будто жизни всей легла основа
на чистые листы перед тобой...
Смысл бытия, смысл жизни сокровенный
открыт тебе средь белой тишины:
«Для обретенья ценностей нетленных —
сокровищ вечных — нам они даны.
Мир может лишь теплом души согреться,
и лишь любовь одна к тому пролог,
одна любовь, заполнившая сердце...
Через нее в тебя и входит Бог...»

XXIII

Уже не снегопад. Бурана тьма.
Учетверилась снеговала сила.
Как будто с умыслом худым зима
всю эту заверть раскрутить решила.
Уже ты видишь крест над всей страной,
как над великой братскою могилой...
Над всей Россией ветер ектеньей
вознесся: «Заступи, спаси, помилуй!..»
И вторит шепот слабый мой — ему.
И тонет все вокруг в напльвах гула.
В буранном белом рвущемся дыму
село почти бесследно утонуло...

Не раз ты с мощью русского бурана
встречался посреди минувших лет,
не раз тебя томили мукой странной
и полутьма его, и полусвет.
Он налетит, как налетают спьяну
(в расположенье к «встречам» и «речам»),
но перед тем к нему идешь ты сам...
Ты — словно при подходе к океану:
еще не виден он, еще прибой
тебе, идущему, совсем не слышен,
но он уже сам свет дневной колышет,
его дыхание — уже с тобой.

И вот он слуху весь открыт и взору.
Ты с ним один остался на один.
Летят в тебя, в тебя его просторы,
в тебя вплывает гул его глубин!
Ты только рот открой в беззвучном крике.
Ты бесконечно мал в сравненье с ним?
Но в крошечном тебе он весь — великий,
он стал вторым дыханием твоим.
Он в сам состав телесный твой проник.
Бурунныe в тебе душа и сердце.
Бурунных полдней жалобный язык
ты понимать умел еще младенцем.



XXIV

Но этому бурану ты не рад...
Душа, глаза твои ему не рады.
Он на село напал, как из засады,
подмяв собой твой тихий снегопад...
И, словно в помощь этому недугу,
разросся вдруг за снежной стеной
тоски собачьей плач на всю округу,
собачьего уныния долгий вой...
Когда так псы стенают — не к добру...
Беда какая-то должна случиться?..
Ах, что бы этой псине в конуре,
с предчувствием недобрый, не забиться?!.

Безмолвствуя, кричишь. Молчишь, крича.
Душа — что на ветру дрожащий пламень:
вот-вот она во мглу, сорвавшись, канет...
Вся жизнь твоя — что малая свеча.
Немного осветить тебе дано,
само собой, — и обогреть — немного...
Но хоть кому-то, да не так темно,
но хоть кому-то, да светлей дорога,
но хоть кому-то, да виднее лик
Того, Кто этот мир Свою кровью
омыл, согрел Своей святой любовью...
Не прерывай, душа, безмолвный крик!..

Вокруг тебя — снега, снега, снега...
Белее Русь, чем чистый лист бумаги.
Спят под бураном сумрачно лога,
гудят, ревут под ним ее овраги...
Уйти в буран. И в поле, за селом,
увидеть, как в снегах сияют строки,
начертанные Божиим перстом...
В них путь определен е е высокий,
но и тревожный, и опасный путь...
Застыть перед ними в трепете священном.
Не прикоснуться к тайнам сокровенным.
На недоступность их не посягнуть...

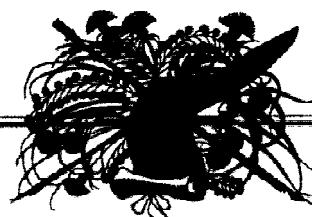
XXV

«Побыть с самим собой, самим собой...» —
тебе ли примечталось, брат? Тебе ли?..
Так вот — почувствуй: ты — со всей страной —
в душе единой и в едином теле.
Ты так же беспределен, как она.
В тебе, как и в родной тебе окруже,
святая кровоточит белизна...
«Святое растворение друг в друге»
чревато болью, милый мой, такой,
когда весь мир в тебе кричит и стонет,
когда он весь не в мути снежной —
в тебе одном, как в белой бездне, тонет...

Ты осторожно трогаешь окно.
Все для тебя за ним так странно-ново...
Давно в тебе копилось, да — давно,
о русском снеге русское же с л о в о...
И вот оно — исторглось, излилось...
Как странно видеть собственные строки...
Набросаны они и вкривь, и вкось...
Ох, будет — разобраться в них — мороки!..
Как бы чужая — скропись сия...
Но это все в тебе, в тебе лишь жило,
тебя, тебя тут, у окна, томило...
Твоя вся эта скропись, твоя...

Ох, простенькая тема — с н е г о п а д!..
Не думал ты, что из такой вот темы
сама собой рождается вдруг поэма...
Бог видит: в этом ты не виноват.
Тут не было и малого усилия.
Снег будто сам водил твоей рукой.
Лишь чудилось, что рядом веют крылья...
А слово к слову шло само собой...
В привычные реальности границы
никак не может возвратиться взгляд...
Вот простенькая тема — с н е г о п а д...
Ей в думах — долго хлопьями кружиться...

ДЕНЬ НЕЗАБЫТЫЙ



ВИДЕНИЕ СРЕДИ ГРАДА ПОЛУДЕННОГО

В

Кому повен печаль мою?
Кого призову ко рыданию?...

Плач Давидов

1

ся изможденно-худая,
средь толчеи городской
еле бредет, рассуждая
(споря?) сама с собой...
Дылды-акселераты
(им и шестнадцати нет,
а уж ничто не свято)
прогоготали ей вслед.
Не до обид ей, нищей.
Сосредоточенный вид.
Что-то, похоже, ищет...
И — говорит, говорит...
Не разобрать за шумом
смысла ее речей.
Тут — бесконечная дума
(вслух, как журчит ручей).
Многим, снующим рядом,
в спешке — не до нее,
походя шаркнут взглядом
(экое, мол, старье!)
да и скорее — мимо,
в вихрь суеты сует...

2

Кто зашептал, незримый
(полдня ли ярый свет,
глубь ли небесной сини,
ветер ли — суховей?..):
«Это — душа России,
Родины горькой твоей!..
Взысканная у Бога,
славная на небесах,
ныне нища и убога
только в земных очах,
бродит она меж вами,
будто среди камней...
Где оно — русское знамя?!.
Кто встанет рядом с ней?!.
Зло мировое в силе.
Русский в бессилье дух.
Носятся над Россией
бесы прорух и разруш.
Тянет по русским равнинам
мертвенным сквозняком,
духом могильной глины,
мертвым могильным сном...»

3

Бродит она по градам,
бродит по весям она.
Ей одолеть ее надо —
мертвую силу сна.
Всех оплела эта сила.
Чуть ли не в каждом из вас
вера святая остыла,
свет ее дивный угас...
Не обольщайтесь ныне,
слыша церковный звон:
в душах-то — мертвый иней,
в душах-то — тяжкий сон.

Спят они беспробудно.
Доля е е — тяжела:
встать е й, одной, претрудно
против всемирного зла...
Крутят всей жизнью бесы.
Не одолеть их, увы,
ежели ПРАВДЫ НЕБЕСНОЙ
вновь не возкаждете вы.
Вместо достойной жизни —
дьявольская игра:

4

Вот вы — в «капитализме»,
шли к «коммунизму» вчера...
Завтра вам нового Маркса
темная сила найдет...
Кто вы — участники фарса
или — великий народ?!.
Будет вам новая ф и г а:
вновь н е ч е с т и в ы х с о в е т
ночь небывалого ига
выдаст, шутя, за р а с с в е т...
Слуги кромешного ада
вновь вам устроят погром.
Снова вам — кровь и надсада...
И — поделом, поделом!..
В доме, где Богово кесарь
в дань забирает с лихвой,
чье обиталище? — беса!
Все в нем чревато бедой.
Бедствий исполнена чаша.
Кто прокричит о беде?!.
Где Гермогены ваши?!.
Минины ваши — где?!.»



5

Словно в глухом ущелье
необоримая мгла,
тень мирового Кощяя
на сердце тяжко легла.
Вспышками электросварки
день ослепляет меня:
ох, как горят и н о м а р к и
в мареве русского дня!..
Русского?.. Глянул устало,
стоя у страшной реки:
мчит «борзота криминала»
Богу, увы, вопреки.
Мчит вопреки моей боли,
мчит безоглядно орда.
Русь ей — открытое поле,
где — лишь хватай без труда!..
Выгнувшись хищно спины,
сквозь сероватый чад,
разные чуж-чужанины,
бесоподобные, мчат.
В жажде, в алкании д е н е г
прут по Руси напролом!..

6

Вон он — промчал их т е м н и к*,
прячась за темным стеклом.
Впрочем, и он — лишь пена:
темники наших дней,
демоны нашего плена
спрятаны похитрей...
Тьма б е з з а к о н ь я сокрыта
там, где концов не найдешь, —

в адских глубинах Бнай-Брита*,
«фондов» прехитрых и «лож»...
Власть е е все обширней,
нет ей, кромешной, конца,
страшен в е е кумирне
рев золотого тельца.
День ото дня он — страшнее.
Гром — не соперник ему!
Как сей телец тучнеет,
в жертвенном стоя дыму!
Жизней людских миллионы
он, не сморгнувши, пожрет.
Сгинет в утробе бездонной
всякий беспечный народ...

7

Мы ль не беспечны ныне?!..
Мы ли не корм пред ним?!..
Что же — бесследно сгинем,
«как исчезает дым»?!..
Истина в бедах яснеет.
Сколько ж нам надо бед,
чтоб согласиться с нею:
да, лишь Христос — нам свет?!..
Попрано все святое.
Всюду — греховный скоп.
Так же вот было при Ноe.
Все завершил п о т о п...
Как же нас отравили
бесы безбожных лет!..

* темник — у ордынцев — начальник тьмы (десятитысячного отряда).

* Бнай-Брит — центр мировой теневой политики в США.



Как они в нас затмили
ИСТИНЫ дивный свет!
Многим, увы, претрудно
к свету рвануться, чтоб
выд�аться незаблудно
из бесовских чащоб...
Дьявольские химеры
застят им снова свет.

8

Вместо пресветлой веры
новых соблазнов бред...
Криком тут в день вонзиться:
может, кого проймешь...
Чуда, увы, не случится,
а за безумца — сойдешь...
Кто-то хихикнет: «Шизик!»
и у виска крутнет.
Всюду в реальной жизни
лишь и д и о т Дон-Кихот...
Все в этом дне — лишь морок,
бремя дурного сна?..
Вдруг снизошла на город
мертвая тишина...
Только одни мельканья —
средь гробовой немоты.
Словно бы час закланья
Родины видишь ты...
Страшен среди пешеходов
чадной реки накат.
Плещутся огни и воды,
медные трубы горят...

195

9

В вареве этой мороки —
пламенные письмена:
«Вот — исполняются сроки...»,
«Вот — у черты времена...»
Муки исполненным взглядом
улицу я оглядел:
видят снующие рядом
явленный мне предел?!.
Слышат ли в мертвом зное
всесотрясающий рев?!.
Все вокруг — слепо-глухое.
Сна беспробудного сков.
Душно во мгле греховной.
Пропит духовный щит.
В ржавчине меч духовный
пылью седой покрыт...
Как защититься ныне?!.
Как дать врагу отпор?!.
Минина нет и в помине,
а Гермоген — не в укор,
видимо, нашему брату
в гибельном шуме дней...

10

Ох, благодать супостату
ныне средь русских людей!..
Ох, не прожгут их души
огненные слова...
В душах-то все заглушил
буйная трын-трава...
И — ни огня, ни дыму.
Все будет — тишь да гладь...
«Спящие сраму не имут» —
так нынче можно сказать.

196

Слух мой во мне воскресили
напоминанья слова:
«Это — душа России!..»,
слышимые едва.
И прозвучало, тая,
как бы издалека:
«С вами она, святая,
не отлетела пока...»
И встрепенулось зренье:
где она — нищенка та?!.
Вон она — в отдаленье...
Чем она там занята?..

11

Вот наклонилась в натуге
и вознесла над собой
ржавую сеть кольчуги?
сетку авоськи худой?..
Глянула — сквозь — на солнце
и покивала: сойдет!..
Может, где щит найдется,
может, где меч сверкнет...
Мне б, не боясь за безумца
в чьих-то глазах сойти,
вслед ей, святой, рвануться
с криком: «Прости! Прости
века безумного чадо!
Эй! Подожди меня, мать!
Мне ли, священнику, рядом
в дне сем с тобою не встать?!

В тихом помолимся храме:
— Господи! Дай нам сил!
Божия Матерь с нами,
Архистратиг Михаил —
с воинством всем небесным!
Дивная, светлая рать!..

12

Да перед нею бесам
мига не устоять!
Взвихрится мгла над Русью
и унесется прочь.
Господи! Иисусе!
Дай нам ее превозмочь!..»
Нет же — не прокричалось.
Не повернулся язык...
Сердце во мне не взорвалось,
не превратилось в крик...
В странном стую бессилье.
«Бред, — говорю себе, — бред...
Это — «душа России»?!.»
Что же смотрю ей вслед
в мертвом оцепененье?..
Вот — оглянулась она...
Вот — там, в своем отдаленье, —
чуть за толпой видна...
Все... Напряженным взглядом
ветхий ее платок
зря я ищу за чадом,
мглящим людской поток...





В

ПРИТЧА О ТРЕХ ДОРОГАХ

I

се текла дорога
средь полей да взгорков.

Шла со мной тревога,
озиралась зорко.

Все слепил глаза мне
свет небесной дали...

Вдруг пред сивым камнем
ноги сами стали...

Камень-каменюга...
Смотрит пугарем он...

Ни жарой, ни выюгой
камень не удреман.

В неусыпном бденье
он стоял веками.

Камень-упрежденье.
Искушенье-камень...

Средь полночной жути
и средь полдней ясных

жил он на распутье
трех дорог опасных.



II

Заглушили травы
три дороги эти...

Вон о той, что справа,
знать, забыл и ветер...

И над левой тихо,
и над средней — тоже...

Но... какое Лихо
ревом даль тревожит?!

Чья там тень мелькнула?..
Не сама ль Косая?!

Чьим там воем-гулом
глуби сотрясает?!

Мало ль в мире горя,
мало ль в нем печали?!

Вся земля — в раздоре!.. «Шел бы себе мимо! —
Вслушался я в дали... шепоточек слышу. —

Чудится: слышны мне
вопли и стенанья...

Будто над пустыней
бури завыванья...

Сжалось сердце в боли.
Да порыв — не волен:

я — один тут, в поле,
а один — не воин...

Жжет-печет глаза мне,
выжимает слезы

вязь на сивом камне,
слепят три угрозы...

Три строки замшелых
горят предо мною.

Три дороги белых,
обросших травою,

пламенем незримым,
тайным жаром пышут!..

«Шел бы себе мимо! —
шепоточек слышу. —

Что тебе дороги
горевые эти?!

Забудь все тревоги,
коль не ищешь смерти!..





IV

По добру-здраву
ступай восвояси!

Али слов суровых
смысл тебе не ясен?!

Зри: «налево» худо,
худо и «направо»!..

Ведай: Чудо-Юдо
круто на расправу!..

А еще страшнее
дорожка прямая!..

Глянь-ка ты: над нею
тучища какая!..»

Глянул я... И верно:
тучища громила

тушней грязно-серой
дали придавила...

Жуткое кипенье
ярости со тьмою...

Вмиг оцепененье
овладело мною.

V

А по трем дорогам —
гул великой браны,

сатанинский гогот,
вихрей визг кабаний...

Разыгрались черти!
Взбили пыль седую!..

Три дороги — к смерти...
Выбирай любую!..

Перед тучей-валом
засвистал мне ветер:

«Вас топталось мало ль
перед камнем этим?!

Мудрости трусливой
вы поднакопили!..

Дух в вас боязливый,
бессилье при силе...

Где уж вам до бою!..
Тут — давай Бог ноги!..

Заросли травою
страшных три дороги...»



VI

Я стою пред камнем.
Руки — словно плети...

Туча, тьмой, — в глаза мне,
в уши, свистом, — ветер!..

Вдруг... накатный топот
сзади раздается...

Будто вал потопный
на меня несется!..

Вижу: витязь грозный
мчится легкокрыло!..

Мертвизной морозной
щеки мне покрыло...

Выбелило мелом...
Вот уж топот рядом...

Вот уж отгремел он
тяжким камнепадом...

Послушный поводьям,
конь перед камнем замер.

Яро конь поводит
умными глазами.

Ан меня не зрит он...
Будто нет меня-то!..

Бухнул лишь копытом,
как на супостата...

Витязь смотрит тоже
сквозь меня незряче...

Нет меня, похоже...
Вот так незадача!..

Силюсь крикнуть что-то,
прошептать хотя бы...

Внатуге безротой
промычал лишь слабо...

Дивный всадник рядом,
да как в ином мире...

Вот повел он взглядом
по ковыльной шире...

Взгляд из-под шелома —
синева морская!

Ему незнакома
суетня мирская...





VIII

Столько в нем, могучем,
света и покоя,

что умчалась туча
прочь, скуля и воя!

Вслед ей ветер вольный
засвистал, загикал —

закружил над полем
в радости великой!

В усы усмехнулся
витязь ясноокий,

к камню попригнулся,
вчитываясь в строки.

Полыхнул очами:
«Виши ты — как пужает!..

Ну да ведь под нами
земля не чужая!

С нами то ль бывало!..
И теперь — не дрогнем!...» Я стою пред камнем
в раздумье глубоком.

Молвив так, помчал он
по прямой дороге!..

IX

Растворился скоро
виденьем чудесным...

Но палит укором
взгляд его небесный...

Дух мой содрогнулся.
Встрепенулся разум.

Тут я и очнулся,
в явь вернулся разом...

Тот же серяк-камень,
да на нем — ни слова...

Тронул я руками
лоб его суровый...

Молчит камень—
лежень...

Таких при дорогах,

при тропах да межах
по Руси — ох, много!..

Давние века мне
душу жгут упреком...



ТОТ ДОМ, ТОТ ДВОР...

Быль

Мертвые хватают живых.



1

ет в девять, посреди военных дней,
когда я жил на грани истощенья,
во мне созрел запойный книгочей
(хоть чтенье — не замена насыщенья).
Необъяснимы тайны ранних лет.

За тайной книголюбия другая
в душе моей зажгла чудесный свет.
То — тайна боголюбия святая.

А впрочем... впрочем... что за тайны там,
где только с виду дни бедны и серы,
где дверь души открыта всем ветрам —
влетайте, семена добра и веры!..

В душе отверстой — жажды алчба,
пред коими малы мученья тельца.

И что с того, что ранняя судьба
уже не раз прожгла надсадой сердце?!.
Ах, сердце в глубь чудесного влекли
(сквозь нищету, сквозь быт ее суровый)
все шепоты, все голоса земли,
все мира, чуть изведанного, зовы.



Чем горше безысходность нищеты,
тем больше жизнь светлела от печали,
тем трепетней прозренья и мечты
меня с чудесным всем соединяли.
Там «о заре» я книгой раскрыленной
вдруг унесен за синий окоем.
Со мной «у лукоморья дуб зеленый»,
со мной «златая цепь на дубе том»...
Не назову я это все п о б е г о м
от горькой яви. Те мечты — не «в дым».
«Песчаным и пустым» там грежу «брегом»
и «русским духом» там дышу святым...
И луг, с названием волшебным Б е ж и н,
в свой час неповторимый, в свой черед,
меня своим ночным дыханьем свежим
и тайною ночною опахнет...
Таинственное, странное, святое
меня к себе манило и влекло.
Но... иногда случалось там такое,
о чем и вспомнить нынче тяжело...

Вот — посреди уже прощальных дней —
окликнул душу позабытый вечер,
и я иду, спешу ему навстречу
путями ранней памяти моей...
Был Робинзон уже известен мне,
когда я оказался в странном доме,
в его особой, мертвой тишине...
Меня тот час случайно познакомил
со сверстником загадочным моим,
который жил в том доме только с дедом.
Был этот дед окраине всей ведом:
она его звала С о б а к о е д о м
и маленьких детей пугала им.

На Кромвеля* лицом он был похож.
С горбинкой нос, кроваво-красны губы.
Признаюсь, что меня бросало в дрожь,
когда его «собачьей» пестрой шубы
вдруг возникала предо мной копна.
Как будто встретишься с зубробизоном.
Косматую одежду Робинзона
еще напоминала мне она.

И внука обходил я стороной
(само собой — из-за такого деда!).
Но вот случилась вдруг у нас беседа,
и он зазвал меня к себе — домой.
Как сказано, был странным этот дом.
Когда я проходил, бывало, мимо,
мне чудилось, что затаилось в нем
страшилище, живущее незримо.
И все хотелось мимо прошмыгнуть,
как будто мимо некой страшной чащи...
Никак не думал, что когда-нибудь
я окажусь средь стен его стоящим...
Какая-то надменность в нем была,
всегда закрытом наглухо, угрюмом,
как бы предавшемся тяжелым думам...
Его, казалось, окружала мгла
ужасной тайны... Он в сердцах мальчишек
невольно возжигал огонь вражды.
Средь скопища окраинных домишек
он возвышался островерхой крышей,
как мрачный замок Синей Бороды...

* Кромвель Оливер — деятель Англ. бурж. рев-ции 17 века.
В школьные годы его портрет привлек мое внимание.



5

И вот в закатный молчаливый час,
товарищем нечаемым ведомый,
вошел я внутрь загадочного дома...
То было в первый и в последний раз.
Я не решился бы на этот шаг,
хоть любопытство было преогромным —
увидеть с а м о м у: и ч т о , и к а к
там — в ихнем обиталище укромному...
Но мне была гарантia дана,
что сам его хозяин будет где-то
в гостях — до самой ночи, допоздна.
Нет, не решился б я при н е м на э т о ...
Как в западню, попал я в этот дом.
В нем чуть раздвинутыми были шторы.
В нем тайные вели переговоры
шесть стульев, стоя чопорным рядом.
Был стол угрем и хмур, как носорог,
всегда готовый с кем угодно биться.
Под тяжестью его дубовых ног
безмолвно изнывали половицы...

6

Домишко мой и беден и убог,
но в нем иконка мне всегда сияла,
мерцал лампадки кроткий огонек...
Здесь — чучело совы их заменяло...
И фикус тут, развесив листья-ушки,
млел глянцево в просвете между штор
(мое, мое молчание он слушал!).
Тут на меня, застывшего, в упор
барометра темно взирало око...
Казалось мне, что в тишине глубокой,
лишь до какого-то мгновенья нем,
за стенкой затаился Полифем

и, одноглазый, изучал пришельца...
Слышно мне было собственное сердце —
как будто заперт был во мне набат:
«Беги отсюда! Возвратись назад —
в привычный мир, на улочку-тихоню,
опереди возможную погоню,
с засовом спрятавшись быстро у дверей,
беги, беги отсюда поскорей!..»

7

Как я боялся, что сюда вот-вот
хозяин, страшный, что циклоп, войдет...
Не верилось, что он ушел куда-то.
Он рядом был, как тайный соглядатай,
как домовой (весь серый и косматый), —
в каком-нибудь тенетном уголке —
в подполье, в спальне иль на чердаке.
Как некое хранилище покоя,
тяжелые напольные часы,
стоящие, как видно, «для красы»,
поскольку в них — ни щелканья, ни боя,
надменно возвышались предо мной...
Тут слева шкаф увидел я большой...
За стеклами, на книжных корешках,
тиснений позолота вечерела...
И книгочей во мне воскликнул: «Ах!..»
Но я стоять остался оробело.
Наверное, вот так Али-Баба
сокровища в разбойничьей пещере
вдруг увидал...

8

Увы, увы, судьба
не распахнула предо мною двери,
не прошептала: «Все — твое! Владей!..»
Нет, мой приятель, за спиной моей



стоявший в торжествующем молчанье,
не намекнул, мол, можешь посмотреть...
Он мне позволил только замереть
и постоять в священном созерцанье...
Здесь должен сам себе напомнить я,
что увлекла меня средь предвечерья
не только тайна этого жилья...
Тут любопытство было книгоочея.
Наслушался я рассказней дружка
о «целом шкафе обалденных книжек».
И я увидел их... Издалека.
Он не дал мне увидеть их поближе...
Наверное, заранее о том
он помышлял торжественном мгновенье:
как я, войдя из нищеты к ним в дом,
разину рот в невольном изумленье...

9

Вдруг весь я во мгновенье помертвел...
Кто прошептал мне: «Осторожней, Слава!..»?..
«Железный Феликс» на меня глядел
из черной рамы, что висела справа —
над картою большой ЭС-ЭС-ЭС-ЭР...
Сама эпоха на меня взирала —
эпоха страшных кар и «высших мер»...
И за спиной мою прозвучало:
“А хочешь — поиграем мы в ЧеКа?!.
Ты будешь «контриком», а я — «чекистом»...”
И надо мною в этом зальце мглистом
нависла туча — вместо потолка.
Я об игре не слыхивал такой...
Тут было что-то жуткое для слуха...
Слова в меня проникли мертвоздухо,
и я сказал, что мне — «пора домой».
Меня знакомец мой не отпустил.
Он так связал меня своим запретом,
как будто в полной власти темных сил
я оказался в странном доме этом...

10

Чем тишина была в нем тяжела
и отчего в нем было все так серо?
Безбожием напитанная мгла —
его сеней и комнат атмосфера.
Безбожием и тем, чего нельзя
определить одним каким-то словом...
Смертельным тайным ядом бытия —
дыханием тлетворным д у х а з л о г о.
Тот яд и то дыханье знаю я:
не раз меня их смрадом жизнь травила.
Но силу их впервые душа моя
столь остро в этом доме ощутила...
Но был еще и двор... Тсс! Ни гу-гу!..
Велит воспоминанье оглядеться.
Не проскрипит, а прохрипит мне дверца...
Вновь в сумерки его шагнуть смогу...
Ох, этот двор! Нахмур его строений,
широкие тесины мостовья...
Тот дух неистребимой вечной тени,
там надо всем царящей, помню я!..

11

Запомнил я то место казней крепко,
закланий место разнесчастных псин...
Опасно человеку с человеком
в таких дворах один-то на один!..
Куда ни глянешь — стены все одни,
тесовые, бревенчатые стены...
Все то же ощущенье западни,
глухого, безнадежнейшего плена...
К себе невольно привлекла мой взор
широкая засаленная плаха.
В ту плаху крепко всажен был топор,
хоть и не так, чтоб со всего размаха.

Взгляд укололся о железный крюк,
над ними к балке намертво прибитый.
Он топору и плахе сальной — друг:
одним злодейством с ним они повиты...
Сам воздух для меня там был тяжел.
Знакомец мой, не ведая сей муки,
к той плахе по-хозяйски подошел
и опустил на топорище руки...

12

Он был (со мной в сравненье) крепышом,
ему, должно быть, голод был неведом.
Его я не успел спросить о том,
как вышло так, что жил он только с дедом.
Что спрашивать?! Война и есть война.
И в этом лете, в горьком этом мире
со мною тоже — мачеха одна...
К тому ж живем мы с нею — «на квартире».
У нас — и ни кола, и ни двора.
Да и на время снятое жилище —
квартира наша — просто конура,
коль сравнивать ее с ег о домишем.
И скарб, нас окружающий, — убог.
Ни золоченых книг, ни ваз хрустальных...
Но как бывал не раз к нам близок Бог
средь горьких вечеров и дней печальных!..
И, ветхие, со мною книги там,
и — первые молитвы (нет их чище!).
И знаю я дорогу в Божий храм,
что уцелел при городском кладбище...

13

Есть при квартире нашей тоже двор —
с дровянником, сараев и колодцем,
но в нем ничто не омрачает взор,
левкои там легко цветут под солнцем.

Там ласточек живая щебетня
с утра до ночи — над замшелой крышей.
Нередко там моих друзей-мальчишек
гримит на всю округу шебутня...
Но этот двор глухой... Передо мной —
в стене тесовой — узкое оконце,
а в нем — как будто уголья от солнца,
чуть тронутые сумерек золой.
И свет на плахе — красный, будто кровь.
И тот же свет упал на наши лица...
Тут к обреченности себя готовы:
в такой минуте может все случиться...
В тоске предсмертной выли тут барбосы...
И эту застарелую тоску
вдруг изострил о н ледяным вопросом:
«А хочешь — отрублю тебе башку?!.»

14

Ответь — попробуй — на вопрос такой!..
Остановилась темная минута,
и растеклась меж нами чернотой,
и все во мне затмила душной смутой...
О н замер предо мною, стиснув зубы.
Над ним, в оконце, дрогорал закат.
Как будто дед ег о кровавогубый
на мне в тот миг остановил свой взгляд...
И пред моим затосковавшим взором
вдруг пронеслись виденьями, как дым,
все Шарики, все Жучки, все Трезоры,
какие тут закланы были им.
Багряно-серым было все вокруг.
В глаза мне было жаркое двулучье.
И с воли ни единый малый звук
не проникал в тяжелое беззвучье,
в котором предо мной торчал топор,
в котором жег меня вопрос безумца...
Вокруг меня как бы сжимался двор,
чтоб мне — не отступить, не увернуться...

15

И, кажется, совсем не шутит о н...
 Ох, эта плаха и топор над нею!..
 Не явь живая, а кошмарный сон,
 в котором предан в руки я злодею...
 И сердца стук: «Беда! Беда! Беда!..
 Какое ты хотел найти тут чудо?!.
 Зачем, зачем ты сунулся сюда?!.
 Как выбраться теперь тебе отсюда?!.»
 Наверное, «игра» пришла такая
 ему на ум, вернее же — взбрела...
 Пожалуй, он, «игру» ту затевая,
 не замышлял чудовищного зла...
 Она, до той минуты, тайно зрела
 в тиши тяжелой этого двора,
 в его уединеньях — без предела —
 и в жутких созерцаньях топора,
 при нем не раз пускаемого в д е л о...
 Тут воздух был как бы отравлен тем,
 что мысль такую до поры таило,
 тут мороком скопилась злая сила,
 она тут повисала надо всем...

16

А между тем о н раскачал топор,
 и выдернул его из сальной плахи,
 и на меня уставился в упор:
 дабы проверить — в должном ли я страхе
 пред ним и топором его застыл,
 достаточно ль во мне все омертвело...
 И этот взгляд лишил меня всех сил:
 тут не «играй» уже запахло — д е л о...
 И вдруг... (освобождающее «вдруг»!)
 об уличную дверь тяжелой трости
 до нас донесся троекратный стук:
 вернулся дед его, сходивший в гости...



Страх вылетел один. Влетел другой.
 Одна беда другой пришла на смену...
 Я вмиг как бы увидел эту сцену:
 они в д в о е м стоят передо мной!..
 И кто из них страшнее — дед или внук —
 уже не знал я. Как прирос я к полу.
 И повторился в тишине тяжелой
 тяжелой трости троекратный стук...

17

«Давай — через калитку — в сад! Живей!
 Увидишь там — как выбраться оттуда!..
 Дед не велит мне приводить друзей...» —
 услышал я. Освобожденья чудо
 от этого ужасного двора,
 от этого опаснейшего дома —
 пришло, случилось!.. Но... кричать «ура!»
 не поспешишь... Как пораженный громом,
 я выскоцил в их затравевший сад.
 За мною глухо брякнула щеколда...
 Но... то была еще п о л у с в о б о д а...
 Среди заборов заметался взгляд...
 Сад был как будто царствие паучье,
 в котором — не пройти, не проползти:
 в тенетниках деревьев мертвых сучья
 ко мне тянулись всюду на пути...
 Тенетники — и на траве высокой...
 Они уже — и на моих руках...
 Я словно бы в сети застрял широкой:
 не разбежаться, хоть и гонит страх...

18

Сады тогда у многих одичали.
 Они померзли в первый год войны.
 Но я не знал садов такой печали,
 садов такой мертвящей тишины...



Сад, ничего не знаящий о цветенье,
сад, не шумевший никогда листвой,
неприкасаемый в своем успенье,
сомкнул сухие ветви предо мной...
Я продирался, рук не отыная
от пламенно горящего лица.
Сухому саду — ни конца, ни края...
И все же — я добрался до конца.
Истерзанный, исхлестанный, избитый
(мне напоследок бровь забор рассек),
как будто не из сада, а из битвы
я выбрался в проулок-тупичок.
На мне репьи повисли. И тенета
на мне — что клочья нетопырьих крыл...
Я был смешным подобьем Дон-Кихота,
сразившегося с сонмом темных сил.

19

Среди проулка я остановился,
как бы не веря, что еще живой.
Как будто наяву мне сон приснился...
Сон на закате. Тяжкий сон дурной...
Из-за забора, словно из засады,
смотрел вовсю этот мертвый сад.
В сплетеньях сучьев злобную усладу
таил его угрюмый тусклый взгляд...
Дом потомил, и двор нагнал лишь страху,
но о н-то уж когтями потерзал!
Костлявыми руками (с маxу! с маxу!)
уж он-то гостенечка нахлестал!..
За ним вздымалась крыша, что гора...
Тот дом, тот двор... Не глянуть без
боязни...
Казалось: продолжалась там «игра»
(игра в ЧeKa иль в ужас лютой казни)...
Тот дом, тот двор, тот страшный мертвый
сад...
Они внезапно всплыли предо мною.
Они повиты сумраком и мглою.
Они все той же дышат мертвизною...

ПРО САНЮ МАЗУРОВА



редь давних лет суровых
(на вид угрюм и дик)
вдруг Саня Мазурова
припомнился мне лик.
Во взгляде — ножевое,
в кривой ухмылке рот.
В ухмылке той такое,
что оторопь проймет.
Был дурачком он сельским,
да не совсем простым...
Сравнить такого не с кем.
Ни с кем и не сравним.

Двадцатого столетья
убогое дите.
Как грубый выстрел плети —
его житье-бытье:
врубилось, не забылось,
хоть многое — что дым
(как будто лишь приснилось,
а не было живым).
У памяти резоны
свои на этот счет!
У памяти законы —
их умник не поймет!

Кормили Саню ноги,
а он их не берег.
Босые эти ноги
месили грязь дорог.
Земля снежком покрыта,
они — и по снежку!
Не ступни, знать, — копыта
достались дураку.
Не волосы, а грива —
над глупой шабалой.
Совсем как конь ретивый,
он землю рыл пятой.

Любил «конем» быть Саня!
Он ржал — что было сил!
Он ржаньем в ранней рани
округу всю будил.
Вот он — «вожжу» под мышки —
и-и-и вдоль села бегом!
Все сельские мальчишки
поездили на нем.
Ах, как он ловко топал!
Как тряс он головой!
Аллюра и галопа
он мастер был большой!

«Куды спешишь ты, Саня?!

— окликнут. — Отдохни!»
Он встанет, косо глянет,
про отдых, мол, — ни-ни!
Не до балаяс, мол, с вами,
ведь столько дел вокруг!..
Мол, видите, чай, сами,
что Сане — недосуг!..
Но это — так, для виду.
Хоть «некогда» ему,
отказа иль обиды
от Сани — никому!

Вот Саню обступили.
Еще он «конь» для всех!
В пыли он весь и в мыле...
Потеха из потех!
Гогочет окруженье!
Забавен дурачок!
Он, со своим сужденьем, —
что камень — в бочажок:
бултых — и брызги кверху!
А брызги — дружный смех.
Хватало того смеху,
тех светлых брызг, на всех!

Но и не так бывало...
Случалось иногда:
«сужденье» попадало
совсем уж «не туда»,
за ту черту, где красный,
запретный пышет свет,
где дурню — не опасно,
а прочим — много бед...
Он, средь трепни той шумной,
такое мог ввернуть!..
«Дурак-дурак, да умный!..» —
лишь буркнет кто-нибудь.

Вмиг поскушнеют лица.
Окончен разговор.
«Пора и расходиться...
Сань! Заводи мотор!..»
Преобразится Саня!
Поддернет рвань порток,
загадочно вдруг глянет,
попятится чуток...
Зло «ручку заводную»
у зада крутанет,
бикинет и, «газуя»,
в поля улепетнет!



Уже не конь он резвый.
По тракту, напрямик,
грохочущий, железный,
мчит Саня-грузовик!..
И трактором бывал он,
комбайном — тоже был...
На все, на все хватало
его дурацких сил!
Что в помыслах, поди-ка,
он грузов перевез,
в заботе превеликой
пыхтя, как паровоз!..

Усердье бестолково?..
Да это — как сказать...
Другого-то такого
трудягу — поискать!
Лихие были годы —
надрыв всех сил, всех жил...
И «подсобить народу»
наш Саня норовил.
Невольник добровольный
великой маэты,
«трудился» Саня в поле
до самой темноты.

А спал он — где попало,
где свалит усталь с ног.
Похрапывал, бывало,
в бурьянах, близ дорог.
Тот храпоток усталый
я помню до сих пор.
Так на газу, на малом,
шумыркает мотор
на малых оборотах...
Но! В миг любой готов
взреветь! и — за работу!..
Ах, Саня Мазуров!..

Ему бы светлый разум
да ту же страсть и прыть! —
Весь мир бы, верно, разом
он смог преобразить!
Погублен в Сане кто-то...
Кого в нем рок сгубил?..
Ведь Саня идиотом
не от рожденья был.
Такие помню речи:
«Еще он был грудной,
свалился как-то с печи
да об пол — головой!..»

Загадки этой вечной,
увы, не разгадать:
тому, глядишь, — увечья,
другому — тиши да гладь...
Знать, дело все — в удаче?..
Иль есть иной резон?..
Несчастный случай начал,
и завершил все он.
Прибрал он Саню рано
(лет тридцати тот был):
шофер залетный, спяну,
беднягу задавил...

Я помню, как щутили
о «приключенье» том,
мол, два автомобиля
столкнулись за селом,
один, мол, сразу — всмятку,
другому — хоть бы хны!..
Вздыхали: «Чай, «десятку»
шоферу дать должны...»
Нет, ничего не «дали».
Все вышло «так на так».
Шофера оправдали.
А виноват — дурак.



«То ль сдуру, то ли скосу, —
врал шоферюга тот, —
метнулся под колеса...
Кто ж дурака поймет?!»
Похоронили Саню.
Такие вот дела...
Уж он на ранней рани
не поднимал села,
«копытами» не бухал
с темна и до темна...
Диковинной для слуха
была та тишина...

Нет дурня криков зычных,
нет дурня шебутни...
Так были непривычны
своим молчаньем дни!..
Как будто вдруг изъяли
живое все из них.
Рассвет вставал в печали,
закат был сер и тих.
Да, да: сама погода
кручинилась тогда,
и вся как есть природа —
и небо, и вода...

Был каждый холм нахмурен,
и темен каждый дом.
Как пред великой бурей,
посникло все кругом...
При Сане-пустодее
спорешили дела,
вся жизнь была теплее,
затейливей была!
В ней все вдруг полиняло,
как над «советом» флаг.
Иным, иным все стало...
Н-да... Вот вам и дурак!.



ДЕНЬ НЕЗАБЫТЫЙ Из отрочества

Поэма

Как журавль, как ласточка издавал я звуки,
тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои
к небу: Господи! Тесно мне, спаси меня.

Исаия. 38, 14

1



ебо дня Ильина
и в сиянье — сурово.
Сторожит тишина
громоносное слово.
Не пробиться ему
и не стать откровеньем,
не прийти ни к кому
ни грозой, ни спасеньем.
Болен мир глухотой
и безбожием болен.
Он лежит под пятой
темной силы и воли.
И не стонет о том,
и не плачет, похоже...
И печаль о с в я т о м
его вовсе не гложет...
И за мной он следит,
чтоб и мне не отбиться,
не ступить за гранит
утверждённой границы.
Знать и думы мои
ему, кажется, мало.
Как во дни Илии,
он — поклонник Ваала*.
Хочет он, чтоб и я,
чтоб и я в поклоненье,
свою душу губя,
измозолил колени...





2

Ниц пади, вместе с ним,
пред кумиром бездушным
(не пред БОГОМ живым!),
будь покорно-послушным!
И (вдали от людей,
от житейского шума)
отступиться не смей —
даже в помыслах-думах!!!
Я один на один
с онемевшим вдруг логом.
Средь библейских долин
так встречаются с БОГОМ?..
Зноя зыбкая сеть
здесь меня уловила —
дабы запечатлеть
этот час в ком-то было?..
День меня вдруг увел
из степного селенья
(в самый зной) в суходол,
чтобы мне в отдаленье
отойти от обид,
намолчаться, забыться,
в немоте раствориться...
Может, и отболит
то, что свежим ожогом
душу жжет и печет...
Бог к забвению дорогу
в днях таких нам дает.

Степь вокруг. Ни души.
Нет ни взгляда косого,
нет ни слова худого
в этой грозной тиши.
Можно быть здесь собой,
можно тут накричаться,
простонать, разрыдаться...
Тут — хоть волком завой!..
Но во мне — немота.
Нет ей выхода, нету...
На замки заперта,
не прорваться ей к свету,
долгим криком не стать,
стоном, шепотом, воплем...
Онеменья печать...
Но накоплен, накоплен
в небе, в зное, во всем,
в каждом малом овражке
дня про рочь е го гром —
вздохом запертым, тяжким...
Полыхающий день,
с немотой светогасной...
Ничего не задень,
ибо — взрывоопасно!..
Он не раз приходил —
меня в мученье-науку:
за весь мир я один
нес недетскую муку...



4

Глушь степного угла,
глушь степного укромья
тяжело облегла
суходолы и всхолмья...
По тревоге в душе,
по великой печали
я не старец едва ли...
Но... не отрок уже.
В темных глубях небес —
немота одичанья.
Наземь рухнет в отвес
эта тяжесть молчанья
и раздавит меня —
одиночку-мальчишку
(средь июльского дня —
только вскрик, только вспышка...).
Взгляд взлетит к синеве:
о, как небо отверсто!..
Шепоток в тишине:
«Тут — не отроку место!..»
Этот лог неспроста
наречен В о л ч и м л о г о м...
Есть такие места
(по России их много!),
где особая тишина —
в ней твое замиранье,
в ней не просто молчишь —
утопаешь в молчанье...

В этом полдне во всем
неземное разлито —
потаенным огнем,
жарким тленем сокрытым.
Зной — как тяжесть оглесть,
зной — что тесные стены...
Пышет адова печь?
Дышит пламень геенны?..
Здесь, в степной стороне,
неоглядной, что море,
тесно мне, душно мне,
будто в малой каморе...
Замуррованный в зной,
в немоту круговую,
я недетской душой
громы-молоны чую.
Громы-молоны те
мне известная сила
(в обложной духоте,
среди полдня) скопила.
От нее не смогу
я нигде затаиться,
ни в каком мне логу
от нее не укрыться.
Не уйти в забытье
и не встать одиноко:
всюду, всюду ее
недреманное око...

* Ваал (семитск.) — идол, божество ханаанских народов.





6

В свете ясного дня,
в смуте облачной седи
зрят она на меня
из развенчанной тверди,
ибо Бога-то нет —
по ее утвержденью,
Божьей Истины свет
ей приравнен к затмению...
Быть собою не смей!
Помни: ты — под надзором!..
Для меня тяжелей
в этом мире нет взора.
До смертельной тоски
надо помнить об этом:
ты живешь вопреки
всем советским запретам!
Ты — «поповский сынок»,
а такому, известно,
вот такой Волчий лог,
с детства, — самое место!
Ты, на данный момент, —
мнимость в некоем роде,
так себе — э л е м е н т,
растворенный в народе,
но народу чужой
(коль точнее, так — чуждый),
хоть одни за тобой
лишь несчастья да нужды...
упокоиться — маме...

7

Ты живешь первый год
своей жизни нескладной,
рот младенческий рвет
крик голодный, надсадный.
Только что он — твой ор?!.
Ты, брат, кем-то с пеленок
обречен на «умор»,
потому что — по-пе-нок...
Сквозь сибирский мороз
(ох, длинны перегоны!)
тащил «хвост» паровоз
из «телячьих вагонов».
Чуть ползущий состав.
Тяжелей его нету:
нары, грязь, теснота...
Ты — средь тяжести этой...
Материнских сердец
тут святая надсада.
Месяц. Два... Где конец
транссибирского ада?!.
Безнадежно больной,
вопреки безнадежьям,
ты остался живой,
выжил — промыслом Божиим.
В Уссурийской тайге,
на реке, на Имане,
суждено не тебе
умирать — маме...



8

Участь выпала — жить.
С тем условием, правда,
чтобы всю-то надсаду,
всю-то горечь испить,
всю-то русскую боль
поселить в своем сердце,
на земную юдоль
с ранних лет наглядеться...
Знать, таков уж твой рок —
наболеться всем э т и м.
Мир особо жесток
к неродным ему детям...
Ты — уж точно — из них.
Наглотался ты ядов
его взглядов косых
и прямых его взглядов...
Хватит в жизни твоей
и угрозных замахов,
и «запретных дверей»,
и «анкетного страха»...
До двенадцати лет,
вот до этого лета —
голод, голод... И нет
никакого просвета.
Небывалой войны
в детство врублены годы.
За какие вины
мука мне — без исхода?!

9

Ах, душа-голубок,
что тебя вдруг загнало
в этот сумрачный лог?
Что ты стонешь устало?..
Ты поранилась вновь
о презренье слепое,
оцарапалась в кровь
о безумие злое...
В этом дне огневом
песней громкой о небе
плыл трезвон над селом.
Люди шли от обедни.
А потом, в тишине, —
лишь кузнечиков звоны.
Шел и я (как во сне),
духотой оглушенный.
Взгляд сроднился, под зной,
с раскаленной тропинкой...
Вдруг — мужик предо мной...
Смотрит с едкой ухмылкой!
«А-а-а! Поповский щенок!
Брысь, гаденьиш, с дороги!..»
И вдогон — матюжок.
Тут — давай лишь Бог ноги!..
Что за сила несла —
среди полдня слепого —
меня прочь из села,
мне чужого-чужого?..





10

Две недели назад
я покинул п е н а т ы*,
я оставил свой град —
захолустный Алатырь,
где родился, к у д а
возвращен был Приморьем,
где беда да нужда
жили рядышком с горем...
Вел родитель меня
на приход свой глубинный.
Ох, в дороге той длинной
понадумался я!..
Изобилия край
мне являлся в мечтаньях,
хлебный мир, хлебный рай
жил в моих упованьях.
«Хлеб — всему голова!» —
ранней памятью всею
помню эти слова,
правду их разумею.
В блеске солнечном степь
хлебным духом пьянила,
«воды» зноя струила,
на меня глядя вслепь.
Будто думу она
обо мне затаила...
Как ее глубина
то звала, то страшила!..

11

Словно жить впереди
предстояло сначала...
Холодочком к груди
вдруг жара припадала...
Эти семьдесят верст
я измерил шагами.
Для меня они — мост
меж двумя берегами...
На оставленном мной
берегу — все знакомо.
Берег дальний, другой
растворила истома
раскаленного дня.
Все там, в маревах, плыло.
Что ждало там меня,
что так душу томило?..
Шли не просто в село,
чужедальнее, двое —
для меня потекло
время жизни и н о е...
И дороги той суть
видел я непростую:
для меня она — путь
в жизнь тревожно-ищую...
Там, где марево-дым —
под пыланьем небесным,
встречусь с миром иным,
мне почти неизвестным...



12

Был отец мой вчера
простециом, дровоколом.
Вдруг явилась пора —
снова встать пред Престолом,
снова он — и е р е й,
после многих гонений...
Он и рад перемене,
и не верит он ей...
Там, куда мы идем,
он, в начале тридцатых,
послужил... Жутковато
даже слышать о том...
Был он Богом храним,
и в ту пору, пожалуй,
только чудом одним
«Соловков» избежал он.
Власть без Бога... Она
нынче даст послабление,
завтра — снова гоненья,
выдаст лиха сполна...
Вихрь промчит по стране,
сатанаея от яри...
Слишком прост тут «сценарий»
и реален вполне...
И в какой бы дали
ты ни вздумал укрыться,
будет ярость земли
над тобою клубиться...

13

Знак был явлен в пути
нам в полуденном зное.
Довелось нам идти
сквозь селенье степное.
Слышиш: где-то стучат...
Пригляделись: в сторонке
храм ломами долбят
мужики на щебенку.
Встал отец. Встал и я.
Заморозились лица
среди знойного дня.
Пыль над храмом клубится...
Страшно было молчать,
видя черное дело.
Я остался стоять,
а душа полетела...
Муки-скорби полна,
к ранам храма припала.
И рыдала она,
там, у стен, и стенала...
И летели в нее
все осколки, обломки...
Град ударов жестоких —
в сердце, в сердце мое...
И кричало оно
от мученья-страданья...
В этом жить суждено
сколько мне?! До скончанья?..

* пенаты — родной дом, родное место.





14

Ох, не храм, а меня
те ломы сокрушили...
И в безмолвной печали
на отца глянул я,
мол, куда ж мы идем,
коль та к о е творится?!.
Повернуться б кругом,
с полпути возвратиться...
Понял он все — без слов.
Но маxнул: «Пошагали!..»
Под долбежку ломов
мы село миновали.
Мы продолжили путь...
Странным сумраком мглимы,
друг на друга взглянуть
все никак не могли мы.
Местность — лог да овраг.
Местность — вздыбы да взметы.
Спины мокры от пота.
Мы посбавили шаг.
Ноги — как из свинца,
хоть ложись средь дороги.
Ощущенье тревоги
за безмолвьем отца...
Лишь вдали от села
он кивнул мне в раздумье:
«Вот такие дела...
Вот такое безумье...

Край наш верой, сынок,
утверждался от веку.
Невелик городок
наш Алатырь, но веру
он большую имел!
Сколько храмов в нем было!
Лишь один уцелел:
все смела вражья сила...
Три обители в нем.
Ни одной — чтоб живая...
Нынче всюду — разгром,
будто после Мамая...
Пустынь Духова — где?!.
Что — с красавцем собором?!.
Запустенье везде,
дух разгрома-разора...
Город стал — не узнать.
Лишь вздохнется в печали:
«Дал Господь благодать,
мы же — не удержали!..»
А возьми Промзино!
А — Саров! А — Ардатов!..
Всюду нынче темно,
всюду — дух супостатов.
Свет духовный померк
пред безумным погромом.
В слепоте человек
Божий Дом рушит ломом...



16

Православный народ
весь во власти безумцев...
Наважденье пройдет —
к вере все повернутся!
Погоди: затрецат
сатанинские сети!
Веру люди хранят.
Тайно свет ее светит!
Есть, сынок, Старцев лог —
превеликое чудо!
Он не так и далек,
по прямой-то, отсюда.
Да, тот лог — непростой!
Вот тебе — мое слово:
на Руси, на Святой,
нет такого другого!
Лог-обитель, хоть нет
там ни стен, ни ограды.
Лишь особенный свет
там является взгляду.
Подойдешь — ничего...
Где ж обитель скрыта?..
Оба склона его
хвойным лесом покрыты.
Тропка в белых песках.
Где же храмы, соборы?!.
Приглядишься: в корнях —
входы в келии-норы...

До двухсот чернецов
там спасалось обычно.
Емельян Пугачев
к ним пожаловал лично.
Сам на белом коне.
Сабля молнией блещет...
«Все — молились обо мне!»
Думал: все затрепещут,
на колени падут,
восхваляя «героя»...
Ан в ответ ему — суд:
«Отвратись от разбоя
и покайся, как тать,
в многой крови повинный!..»
Приказал он связать
их веревкою длинной,
обложить сушняком
да и сжечь — Божьих старцев...
Нерусь — рада стараться:
всех спалила живьем!..
Опустел Старцев лог.
Но среди запустенья
слышен был шепоток,
люди слышали пенье...
Сколько лет там подряд,
в запустенье-печали,
огонечки лампад
все чудесно сияли!..



229



230



18

А потом там опять
много иноков стало,
снова там благодать
на всю Русь воссияла!
Вновь — молитвенный труд.
Снова — подвиг затвора...
Емельян — тут как тут,
с ним — его зимогоры...
Емельян-Губельман*,
на кобыле, на сивой,
верных всех христиан
погубитель спесивый.
Полторы сотни лет —
будто не проходило...
Та же темная сила
навалилась на свет...
Потемнел Старцев лог...
Над обителью тучей
понавис-позалег
мрак беды неминучей...
Старцев всех — под конвой.
Кельи все погромили,
завалили землей...
И — исчезли, отбыли...
С четверть века прошло
с того страшного лета.
Вспоминать тяжело
горе-горькое это...

19

Никому не велят
подходить к тому логу...
Как ни бесится а д,
люди знают дорогу
и туда, и в Саров,
и в Дивееву пустынь...
Как запрет ни суров,
свято место — не пусто!..
Старцев лог — он живет!
Свет там жив негасимый.
Хор там дивный поет,
старцы чудные зrimы...
Так и Русь вся теперь —
затаенное чудо.
Страшный рыкает зверь,
но повсюду, повсюду
дивный теплится свет,
дивно тайное пенье...
Что им грозный запрет
и любое гоненье?!.
Погоди, погоди —
вера в людях оттает!
Русь еще впереди
процветет, просияет!..
От греховного сна,
от ученья чужого
пробудится она
и Святой станет снова!..»



20

Смолк отец, будто тьму
вдруг почуял в тревоге:
«Только ты — ни-ко-му,
ни-ко-му о том логе!
«Пропагандой» сочтут,
донесут «куда надо»,
«от себя» приплетут,
мол, «поповское чадо»
говорит так и так,
мол, зовет к возмущенью,
мол, известно — кто враг,
по чьему наущенью!..»
Я кивнул: ни-ко-му!..
Мы умолкли надолго.
Облекло вдруг во тьму
свет, мне зrimого, лога...
Будто даже в степи,
где безлюдно и глухо,
некто к нам прилепил
вездесущее ухо...
Облегла немотой
нас, молчащих, дорога.
Но осталась со мной
тайна Старцева лога.
Жил вокруг шепоток,
в знойном полдне не тая,
как молитва святая:
«Старцев лог... Старцев лог...» будто вмиг обессилел...

21

Был ночлег в том пути,
в бойком, шумном поселке.
Нам осталось пройти
двадцать верст по проселку.
Эти версты... Восход
проводжал нас сиянем.
До сих пор он живет
в сердце росным блестаньем,
теплым духом хлебов
и проселочной пыли,
криком перепелов...
Мы к селу подступили
еще в раннем часу
(петухов слышно было),
что-то утра красу
как бы попригасило...
Над холмом, невдали,
показались вдруг крыши...
Мы невольно пошли
не быстрее, а тише.
Незнакомый, чужой
мне мирок приоткрылся...
Вот за кочку ногой
резко я зацепился,
вот, как ветхий старик,
вдруг зашаркал по пыли...
И обвис, и посник,
«Старцев лог... Старцев лог...» будто вмиг обессилел...

* Губельман Миней Изранлевич (псевдоним — Емельян Ярославский) — организатор «Союза воинствующих безбожников».





22

Не прикинулся отец.
Верно, он догадался:
то дороги конец
вдруг во мне надорвался...
Оглядел он места,
где пришлось ему лихо:
«Вон — сельцо Теплый стан,
вон — деревня Волчиха...
Да-а... Досталось тут нам!..
И не больно давненько...
Вон — Коровино. Там —
Волчий враг, деревенька...
Вишь — лощина, сынок?..
И ее, между прочим,
тоже именем в о л ч ы м
нарекли — Волчий лог...»
При последних словах
мне шепнула тревога:
«Что-то в этих местах
слишком волчьего много!..»
Лиши кивнул я в ответ,
ощущив ту тревогу.
Даже утренний свет
был иным над тем логом...
Мгла там тмила его.
Что за тайная сила
к тайне лога того
вдруг меня поманила?..

23

Будто знал наперед
я о поздне вот этом:
лог меня позовет
своим сумрачным светом...
Будто знал: в том логу,
в некий день, себя спрячу,
что к нему прибегу
в час безмолвного плача...
Слишком скоро пришел
этот час светогасный...
Я сбежал в этот дол,
звавший силой неясной...
Я опомнился лишь
от села в отдаленье.
Обступила вдруг тишина,
и ослабли колени.
Я как будто продрог
среди зноя и воли...
Волчий лог, Волчий лог
дал приют моей боли...
Больно русскому мне
средь родного народа.
Для меня в этом дне —
теснота, несвобода...
И средь этого дня
я стою одичало
меж «не будет меня»
и «меня не бывало»...



24

Словно пропасти две
предо мною отверсты...
А в траве, а в траве —
раззенелись оркестры
травяного живья,
в исступлении неком...
Безголос только я,
замороченный веком...
Как свободны они!
Всяк ликуй — сколько хочешь!
Заливался, звени —
напролет дни и ночи!
Кто сильней, кто звонче!
До небес воспаренье!
Голоска не жалей,
было бы лишь вдохновенье!
А его тут у всех —
аж до самозабвенья!
Вот — счастливейший смех,
вот — сладчайшее пенье...
Но попробуй-ка ты
к Богу взмыть в своей песне,
изо всей чистоты!..
Назовут м р а к о б е с ы е м
люди светлый порыв...
Тут же — в гневе и злобе —
или ярости взрыв,
или взгляд исподлобья...

25

Взгляд того мужика,
ненавидящий лято...
Тут, при мне, он пока.
Он душевною смутой
меня мучил и жег,
даже в уединенье...
От него Волчий лог
мне не дал избавленья...
Все тут мучило-жгло,
тайно жгло вполнакала.
В отдаленье село
в зное зло полыхало...
Было мне не вместить
грозных всех откровений,
бесконечная нить
потаенных горений
все связала собой,
все прошила незримо...
Над седой лебедой
вьется облачко дыма?..
Вон — татарника куст,
осеняющий камень:
сколь же он многоуст —
в нем сокрывающийся пламень!..
Как он рвется в зенит,
как малиновым жаром
(будто угли) звенит
цвет репейчатый яро!..



233



234



26

Издалека видна
пижма (вся огневая),
в ней жива к у п и н а,
что горит, не сгорая?..
Всюду — тайный огонь.
Тронешь стебель в печали—
и мгновенно ладонь
огнь лизнет и ужалит...
Раскаленность и сушь.
Злой беды полыханье.
Обезоженных душ,
словно плевел, сгоранье?..
Полубред, полусон
в день вошел с облаками.
Будто ангелов сонм
встал вдали — над холмами—
и в молчании ждет,
чтукко ждет не дождется:
вдруг мой падший народ
от безбожья очнется?!.
Всколыхнется земля!
Посреди онеменья
просияют поля
новью преображенья!..
И земля устает
от глухого бездождья.
Неужели народ
не устал от безбожья?!.

27

Неужели же в нем
сатанинская сила
этим страшным огнем
светлый дух его выжгла?!..
Вдруг, прорвавшись сквозь знай,
чудно в нем отзовется,
словно в глубях колодца,
Бога оклик живой?!..
Как взгляделся бы я
в просветлевшие лица!
Среди ясного дня
мне не надо таиться,
и глаза отводить,
и бояться за с л о в о...
Просто — быть, просто — жить
средь народа родного!
Ах, душа-голубок!..
Это — только мечтанье...
Твой удел — Волчий лог.
Твоя участь — молчанье.
От земли оторвись,
разлучись с этой болью —
встретит легкая высь
добротой и любовью!
Но... на крылья — запрет.
И тебя — дивной птицы,
уверяют, что нет,
мол, душа — н е б ы л и ц а...



28

Веком ис-клю-че-на...
Берь, что — «нет», а иначе!!!
Только вот же о н а —
здесь, в груди моей плачет!..
Это ей, ей одной
среди полдня воспели —
над сомлевшей травой —
все степные свирели!..
Для нее, для нее
поднялись молчаливо,
впав пока в забытье,
те вон белые дива!..
Посреди тишины
полдень глянет жестоко:
тени недавней войны
отползла недалеко...
Змеем в травах шурша,
глядят сумрачно-злобно...
Это только душа
вдруг увидеть способна...
Я — частичка Руси,
той, которой уж нету?..
Боже! Не угаси
этую искорку света!
Боже! Душу мою
огради Своей силой!
Дай ей крепость, молю!
И спаси, и помилуй!..

29

Мне помаяться с ней,
ох, немало придется,
с ней, душою моей,
и не раз отзовется
все святое ее
в моей жизни бедою,
и не раз воронье
воскружит надо мною...
Топит мир: «Захлебнись,
погрузись в мои воды!
Только в них — твоя жизнь,
и — твоя, и — народа!..»
Топит мир... Не пред ним
эта мука молчанья —
перед Богом живым
в немоте предстоянье.
Мне, подростку, дана
среди этого лога
забытья тишина
пред безмолвием Бога.
Даль угрозно глядит
в немоте беспредельной.
И один со мной щит —
малый крестик нательный.
Век невиданных сеч.
Гроз неслыханных эра.
И один со мной меч —
моя детская вера...



235



236



30

Просверкнула вдали
огнеперая птица?..
Самого Илии,
может быть, колесница?..
Из-под вздыбленных груд
тонким хладом дохнуло,
и послышался гуд
над лозиною снулой.
Чем ответит земля?..
В стороне, вдоль дороги,
прогремели, пыля,
обалделые дороги.
И дурашливый мат
донесло подтвержденьем:
мир уж точно не свят...
Что ему все громленья,
все сверканья небес?!.
Перед тьмой в три наката
вон он мчится, что бес, —
мастер свиста и мата!..
Нет в нем веры святой,
нет в нем Божьего страха...
Пролетел, как чумной, —
в туче серого праха...
Лишь вздохнули вдогон
глухогромные хляби:
иззлословился он,
образ свой испохабил...

31

Подступила гроза,
подвалила с востока.
Темной бездне в глаза
заглянул я до срока.
Видел я, как мело,
приближаясь нескоро,
черных косм помело
по степным косогорам.
Заелозили вдруг
все кусточки и травы,
все помчалось вокруг,
как во время облавы.
Что взъерошенный волк,
в полумраке ползучем,
грозно двинулся лог
на меня, вместе с тучей.
Средь померкшего дня
в душу вкралась тревога.
Вот когда понял я
тайну имени лога!..
Волчье ожило в нем
в ледяном полуумраке...
Мнятся блудным огнем
мглисто-желтые зраки...
Ни назад, ни вперед:
ноги — будто примерзли.
Жгут меня жар и лед
в этом жутком предгрозье...



32

Как бездомно душе!..
Все во мне цепенеет...
Будто вечность уже
моей жизнью владеет...
Это вдруг ощушишь,
словно дух смертной сени,—
через мертвую тишину
самых крайних мгновений...
Надо мной — немота,
ночи коловращенье.
Даже пижма и та
пригасила горенье.
Пламень полдня погас.
Я стою, ощущая:
в глубине моих глаз
ночь сокрылась глухая...
Громыхни же, гроза!
Полыхни ярой ртутью!
Загляни мне в глаза
ослепляющей жутью!
Надо отроку мне
(я не струшу, не струшу!)
в твоем белом огне
искупать свою душу.
С побелевшим лицом
пред клубящейся тьмою
(может быть, пред концом)
в страхе глаз не прикрою...

33

Хрястнул гром надо мной
(цело — нет? — мое сердце?).
И вселенной самой
от такого — рассесться!
На открытый, прямой,
на удар из зенита —
встряска, отгул глухой
всех подземий сокрытых.
Из невидимых нор,
из незримых разломов —
всего ада сыр-бор:
гул подземного грома...
Под громовый раскат,
под проломный, провальный,
жадно ловит мой взгляд
молний высверк кинжалный.
О, как властно влечет
в глубь свою, будто чаща,
этот тучеворот,
пламенами кипящий!..
Скрылась в ливне земля.
Тьма и снизу и сверху.
Межу тьмами — лишь я —
отрок, шаткая веха...
Ослепляющий свет.
Струй небесных солома...
Северно к траве
мне б прижаться под громом...



237



238



34

Но под ливневый хлест,
все боязни отринув,
я стоял во весь рост,
ввысь лицо запрокинув.
Под потопным дождем,
полыханьем и ревом
крик во мне был рожден,
стать которому с л о в о м
будет после дано —
через многие годы...
Пил я воли вино,
пил я влагу свободы.
Заливало мой рот
и глаза заливало.
То потоками вод
боль мою вымывало,
горьких дум тесноту,
скорбь — докучницу злую,
всю мою немоту,
всю обиду немую...
Криком, криком она
из меня выходила.
Круговая стена
обняла, обступила
и замкнула меня,
как внутри водопада.
Шум воды. Ярь огня.
Грома гул-канонада...

35

Туча, ночи темней,
за холмы увалила.
Утащилась за ней
мелких тучек рваница.
Свет омытых небес —
над омытым простором.
Весь в сверканьях, воскрес
Волчий лог перед взором.
Был он словно иным,
не узнать его было.
О, как ярко над ним
диво-радуга взмыла!
В нем уже ни-че-го
от его заморочья.
Унесло из него,
с тучей, все его в о л ч ь е.
Радость жизни во всем
трепетала, сквозила.
Новым светом-огнем
все охвачено было.
Воздух, воздух какой! —
Легкий, влажно-теплыньи, —
vasильково-ржаной,
лебедово-польниый...
И какой вокруг свет!
Свет небесной свободы!
В мире косной природы
для меня больше нет!



36

Все живое вокруг.
Все ликует, чуть слышно.
Все из Божиих рук
словно только что вышло.
Воскуренья и свет
над окрутой разлиты.
Лог глубоко прогрет,
влагой вволю напитан.
Он младенчески свят.
Вижу, в дивном прозренье,
свет бесчетных лампад
и кадильниц куренье...
Жизнь — в союзе святом
между горним и дольним.
Вразумлен я о том —
всем пресветлым привольем.
Шелохнуться боюсь,
словно бы предо мною
 занебесная Русь
в предвечерье земное
только-только сошла,
вся — в сиянье-блистанье,
ниспустилась, светла,
из Глубин Мирозданья...
Вот сейчас снидет Бог,
будто в Свой виноградник,
в этот млеющий лог,
в сей сиятельный праздник!...

37

Боже! Дланью Твоей
возведен на пригород!
Дня не помню светлей!
Где он — сумрак и морок?!.
Где он — ливневый хлест?!.
Твоя дивная сила
яркой радуги мост
над землей засветила.
Твоя милость — во всем.
Я — Тобою взлеяян.
Твоим дивным теплом,
как Адам, я овеян.
Я не помню тоски
и не знаю обиды.
Светят мне огоньки
моей новой планиды...
Лог у ног моих лег
неким светлым виденьем.
В нем любой стебелек
жив одним прославленьем
Тебя — Бога-Творца,
Тебя — Домовладыки,
в каплях весь, в бубенцах.
Бубенцов переклики
слышу я в тишине,
в предзакатье погожем.
Вместо сердца во мне —
тихий благовест, Боже...



239



240



38

Мир мне больше не чужд,
мне в нем — не одиноко.
Блещут зеркальца луж
в ложе лога широком.
Вон — из самой большой
семицветное диво
взялось передо мной!
Этот случай счастливый
мне нельзя упустить:
по воде белопенной
добрежать... обхватить...
рассмеяться блаженно!..
С многоцветным огнем
этой радуги слиться!
Сверх всего, е щ е в н е м
искупаться, омыться!
Но велит благодать
с замирающим сердцем
мне на месте стоять,
лишь смотреть, лишь внимать,
лишь открытой держать
моей памяти дверцу...
Ибо время дано
в этом дне мне такое,
что, быть может, оно —
не совсем и земное...
Все в нем, вместе со мною,
странны вознесено...

39

На плечо стрекоза,
слюдяная, вдруг села.
Так омыла гроза
мою душу и тело,
что, наверное, я,
среди этого рая, —
ей прямая родня,
как былинка любая...
Рядом блещет смольё
малой стаи грачиной.
Я — не враг для нее.
Нет для страха причины.
Бродят птицы средь трав.
В их осанке величье —
как бы вовсе не птичье...
Важность вскинутых глав,
важность поступи княжья,
или — выше бери —
в ней величье монаршье!
Мол, на нас посмотри
(не сквозь скорбь и обиду,
но в душе позавидуй
всему нашему виду!):
мы ж не птицы — цари!..
Мол, и ты осознай:
кто ты есть в этом мире!
Сбрось с себя свои гири,
венценосцем ступай!..



40

Что там, что там — вдали?!.
Что за крупные птицы?..
Да ведь то журавли!
Пляшут целой станицей!
Из засурских* лесов
поманило их в поле —
попастись средь хлебов,
покричать на приволье!
Взмахи крыльев седых.
А какие коленца!..
Век гляди я на них —
не смогу наглядеться!
Не наслушаться мне
этих радостных кликов!
Мне дано в этом дне
знать о самом великом
и о самом святом —
не в мечтаньях, но въяве!..
Божий мир, Отчий дом
предо мной — во всей славе!..
Бытия торжество.
Жизни полная сила.
Все со мною в родство
в этом часе вступило.
Я земле — не чужой,
моей родине светлой!
Предо мной стороной
она самой заветной!

41

Мною послан мой взор
по дуге семицветной
за далекий бугор,
будто мир там заветный
затаился, залег,
мне пока не знакомый...
Где-то там Старцев лог...
Его зовом влекомый,
я однажды найду
к нему путь, запрещенный...
Чудо! Весь на виду —
влажный, ярко-зеленый —
предо мной этот лог,
в жмурких солнечных пятнах...
Древних сосен шумок,
мне их думы понятны...
Весь я — в этом логу
(словно в теплом, приветном,
вожделенном кругу
некой жизни заветной)...
Запах солнечных сот...
Вон — по тропке песчаной —
тихий старец идет,
сединой увенчанный...
Улыбается мне,
будто век мы знакомы.
Не в чужой стороне,
здесь впервые я — д о м а...



* засурских — леса за рекой Сурой.





42

Наяву вижу сон?..
 Окружен я толпою...
 Небожителей сонм
 вдруг предстал предо мною?..
 Все они — мне родня.
 В яркий час предзакатья
 окружили меня
 мои сестры и братья.
 Мы — родня во Христе.
 Нет родства сего выше.
 Мы стоим в немоте,
 но друг друга мы слышим.
 Ни словечка. И нет
 в том как будто и нужды:
 ведь любовь и привет
 многоречию чужды.
 Головы поворот,
 взгляд, исполненный тайны,
 той, в которой поет
 тебе свет изначальный...
 Это здесь — в самый раз.
 Я здесь с каждым — всецело.
 Праздник радости в нас,
 и любовь — без предела!
 Тут молчать — все сказать.
 Тут слова все — убоги.
 Есть одна благодать —
 пребывание в Боге...

Как одежды светлы!
 Как приветливы лица!
 Так они мне милы —
 взгляду не насладиться!
 Как средь них мне тепло!
 Да, впервые я — дома!
 Им неведомо зло,
 ярость им незнакома...
 Это все и потом
 много раз повторится:
 вечным светом-теплом
 омовенные лица
 я увижу не раз
 во мгновенном прозренье...
 Но... с особым значеньем
 их явил этот час.
 Дескать, страшен твой век,
 он — и зол, и ужасен,
 но взгляни: человек —
 богозданный* — прекрасен.
 Не мечта же он, нет!
 Есть он, есть во Вселенной,
 как он есть и в тебе —
 человек сокровенный!..
 Ты взгляни, ты взгляни:
 сколь предивных их много!
 Вот же, вот же они,
 в ком — сияние Бога!..



44

Просияло и вмиг
 растворилось виденье...
 День как будто посник,
 потускнел во мгновенье...
 Вон и радуги след
 в небе зrim еле-еле...
 Сходит праздник на не т...
 Надо мной прошумели
 крылья горлинок двух.
 Глянул вслед им печально:
 будто дня светлый дух
 помахал мне прощально...
 Жизнь их тайны полна.
 Путь их к ближнему раю?..
 Тайны дня Ильина
 предо мной догорают...
 Еще вздыбы земли
 дышат тайнами теми.
 По низинам легли
 предзакатные тени.
 Предзакатный покой.
 Безмятежье в погоде.
 Что же... праздник любой,
 осияв нас, проходит...
 Вечно быть в нем нельзя...
 Явь заставит вернуться
 из глубин забытья...
 Явь заставит очнуться...

Тъму по окнам храня,
 вон оно — в отдаленье —
 поджидает меня,
 мне чужое, селенье.
 Дескать, что он — твой рай:
 посиял да и — нету...
 Сколько там ни мечтай,
 в жизнь вернешься, брат, эт у.
 Нет реальной драгоценности,
 только эта возможна,
 что груба и безбожна,
 но не будет иной!..
 Как туда мне войти
 из страны осиянной?!.
 Как туда мне внести
 ее свет несказанный?!.
 Как в себе примирить
 чудо с обыкновеньем?!.
 Как в душе погасить
 неземное горенье
 беззакатного дня,
 с его радостью вечной?!.
 Жег закат — пламень пещный,
 доставал до меня...
 Слышал я, как село
 свое стадо встречало.
 Тень мою тяжело
 степь за мной закачала...

* богозданный — созданный особым Божиим произволением.



Был я словно бы гол.
Нес в себе я сиянье.
Нес я ливня плесканье.
С тем в село и вошел.
Босоног, неуклюж,
где попало ступая,
теплых блещущих луж
пламя не огибая,
шел я, брел вдоль села —
гость из мира иного.
Не была тяжела
тяжесть громного слова,
что лежала во мне —
в немоте затаенья.
Шел я, словно во сне,
словно в неком забвенье,
и себя самого,
тени собственной тише.
Никого, ничего
я не видел, не слышал...
Ох, как вздрогнулось мне:
кто-то кашлянул глухо...
Глянул: рядом, в окне —
в черном плате старуха.
Ей не все ли равно?
Но она вопросила,
распахнувши окно:
«Где тя, милой, носило?!»

И, еще сам не свой
(мне слова все — морока),
я махнул лишь рукой
в направленье востока.
Что ответить я мог,
потерявший дар речи?..
«Там» — сиял Волчий лог,
«там» — совсем недалече...
Чуть кивнула: ну-ну...
Мол, понятное дело —
обежал всю страну,
а она — без предела...
Виду ж не подала,
видя: шутка — не к месту.
Будто все поняла
по единому жесту.
«Я гляжу: паренек,
весь в грязюке, жёланый...
То ж отца Иоанна
сиротинка-сынок!..
Как тя — Славиком звать?..
Вещеславом — по святцам...
Че столбом-то стоять?!.
Заходи! Че боятца?!.
Весь в грязи — до лица...
И смотреть — одна жалость!..
Бочка — вон, у крыльца,
пообщайся хоть малость...»

Как вдруг все повернул
последивневый вечер!
Я в тепле утонул
мной нечаямой встречи.
У печного чела
моя сохнет одежка.
Песнь свою завела
на руках моих кошка.
Вторит ей самовар,
на столе утихая.
И хиреющий пар,
к потолку возлетая,
золотою душой,
при сиянье заката,
воспарил надо мной...
Деревенских касаток
шумно-радостный лет
за окошком мне слышен.
Стая низко мелькнет
и взовьется над крышей...
И напомнит вдруг мне
ее промельк мгновенный
мир, почивший блаженно
от села в стороне...
Тут — со мной — мир иной,
мир, едва мне знакомый,
теплый мир избяной...
Я ему — не чужой.
Он мне шепчет: «Ты — дома!..»

Меня малость знобит
под рядном-пеленою.
Я из кадки омыт
грозовою водою.
В конце этого дня
(лишь без громного гула)
та водица меня
вновь обильно скупнула...
Озираю жилье
чуть знакомой старушки
(я на службах ее
видел в здешней церквушке).
Дышит все чистотой,
духом мира и лада.
Пред иконой святой
кrotко светит лампада.
Не изба — теплый рай.
Голос ласковый нежит:
«Грейся чаем давай!
Ешь-ка ситничек свежий!..
Ни кровинки в лице...
Как тебя ухлестало!..
Сирота — при отце...
Что тя в степь-то погнало
из села в день такой?!.
Знать, обидел тя кто-то?..
Што молчишь, как немой?!.
Не твоя, мол, забота?..

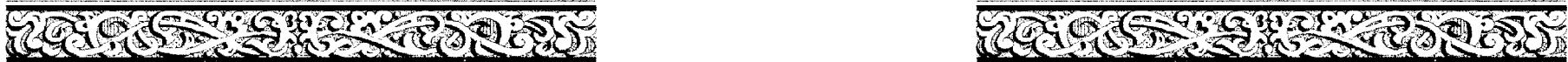


50

Мне шабренка* моя
тут про тя сообщила,
мол, куды-то в поля
побежал что есть силы...
Я вот тут, у окна,
все молилась, стояла.
А гроза-то — черна!
А уж как грохотало!..
Дощ-то льет во всю мочь!
Слава Богу — без града!
День, а вроде как ночь...
Где-то горькое чадо
среди жути такой?!. —
меня думушка гложет.
Помоги ему, Боже,
Своей дланью прикрой!..»
На меня из-под век,
изморщиненных болью,
глянул вдруг человек
с теплотой и любовью.
Человек, мне чужой,
так вдруг сердцу открылся!..
Он — под этой грозой —
обо мне тут молился!..
Вновь застлало глаза
той грозой зауливной?..
Все я ей рассказал —
этой старице дивной.

51

Покивала она,
в забытьи помолчала.
Небо дня Ильина
за окном угасало.
«Эх, родимой ты мой!.. —
и вздохнула устало. —
Много злобы дурной
нынче в душеньках стало...
Много нынче ее —
темной силы в народе...»
И ушла в забытье,
из которого вроде
возвращенья не жди...
Вдруг нашла мою руку
на столе: «Погоди...
Не терзай себя мукой!..
Погоди, погоди...
Это нынче ты встретил
тут Балабу, поди, —
бригадиришку Третьей**...
Пустобрех, балабол.
Он — в душе-то убогой —
на весь свет, поди, зол,
всего больше — на Бога.
Сладко ль жить-то во зле,
среди ада-то злого?!.
Ты в душе пожалей
человека такого...



52

Отравили его
этим самым б е з б о ж ь е м
так, что он ничего
и понять-то не может.
Он ни солнцу не рад,
ни Господнему лету.
Все-то в нем — мрак и хлад,
ночь одна — без просвету...
Нынче — пьян,
завтра — пьян.
Вот и все и н т е р е с ы.
В голове-то — бурьян,
а в бурьяне-то — бесы.
Вот и крутят они
его душенькой пьяной...
Ты на все тут взгляни
не с обидой, жёланный.
Коль язвит нас с тобой
чье-то пьяное слово,
значит, в нас, милой мой,
мало д у х а Х р и с т о в а.
Что Господь претерпел?!.
Ну-ка — вспомни про э т о!
На Кресте Он висел,
а не клял палачей-то!
Смотрит Кроткий на нас,
как мы пьем с в о и чаши.
А для нас-то подчас
и глоток один — страшен...

53

Не скажи, что испил
ты и так уже много...
«Дай мне, Господи, сил,
чтобы смог я дорогу
моей жизни пройти
не во гневе да злобе,
дай мне к р е с т м о й нести
без унынья и скорби,
но во свете Твоем!..» —
вот как думай, жёланный!
Вот быть должен о чем
вопль души постоянный!..
С нападеньями — враг,
а душа-то — с молитвой.
У нее что ни шаг,
то и новая битва.
Ох, словцо-то порой
так вдруг за сердце цапнет,
так когтями царапнет,
что хоть волком тут вой!..
Научись побеждать
завсегда в этой браны!
Научись не бежать
от любых страхований!*Враг, известно, — хитер.
Чем ответить злослову?
Ты любой бражный вздор
отметай, как полову.

* шабренка (местн.) — соседка.

** Третьей — третьей бригады колхоза.

* страхование — страшилище, пугалище, ужас.

И людей не вини,
мол, не стало в них веры.
Натерпелись они,
настрадались сверх меры.
Всюду видим беду.
Да не всюду же худо!
Просто грех — на виду,
а святое — под спудом.
Есть святое! Есть!
Есть он — дар богоданный!
И не где-то, а здесь —
в здешних людях, жёланый!
Как ни ловит их а д
в сатанинские сети,
веру люди хранят,
тайный свет ее — светит!
Ты судить не спеши
по тому пустомеле.
Не у всех из души
свет-то вынуть сумели.
Не в безбожной теми*
мы, жёланый, тут жили.
Нашу церкву возьми:
как ее мы хранили!..
Тут про все рассказать,
так, пожалуй, мой милой,
надо книгу писать:
бед-то — было да было!..

Вспоминать тяжело
тут про все страхованья.
Не отдало село
церкву на поруганье!
Спас народ ее! Спас!
Как враги сатанели!..
Ох, не счешь — сколько раз
с ней покончить хотели!..
Налетят (свят-свят-свят!),
мечут молоны-громы!..
Ни под клуб, ни под склад
не отдали ее мы.
На замке Божий дом
простоял лет пятнадцать.
Ничего святотатцы
не нарушили в нем.
Не коснулись икон,
ничего не сломали,
ни один колокол **
с колокольни не сняли!
Виши: и дожил народ
до денечка святого —
снова церква живет,
слышен благовест снова!..
Бот!.. А ты говоришь... —
Вдруг всплеснула руками. —
Ба! Да ты, будто пламя
на ветру, весь дрожишь!..»

* теми' (уд.местн.) — тьме.

** колокол (уд.местн.) — колокол.

Меня снова знобит.
Не унять этой дрожи.
Под рядниной покрыт
я «гусиною кожей».
Лба коснулись персты
быстрой легкой десницы:
«Ну-ка ты, ну-ка ты —
как успел настудиться!
Голова-то пылат,
ровно бы огневая!
О сю пору быват
лихоманка «сенная»...
Не согрел, знать, и чай?..
Крепко тя прознобило...
На печь вон полезай
(от утра не остыла).
Наша матушка-печь —
лучший лекарь, однако.
Ни разлук там, ни встреч!
Крепче крепости всякой!
Ты возьми и поспи,
дай душе-то покою!
От полудня в степи —
со надсадой такою!..
Прокали-ка бока!
Назнобился, жёланый...
Я слетаю пока
до отца Иоанна.

Воротился ли он?..
Он ведь, после обедни,
в гости был приглашен
из деревни соседней
его давним дружком —
старичком-пчеловодом.
Дак, поди, за чайком
засиделись, за медом...
Да гроза еще, чай,
там его задержала...
Ну-ка — на печь давай!
Я к нему побежала:
ждет, поди-ка, сынка!..
Потомись тут немножко:
не провяла пока,
не просохла одежка...»
Дверь вздохнула ей вслед.
Я на печку забрался.
Лишь лампадочки свет
живь со мною остался.
На меня тихий Спас
смотрит кротко с божницы.
Сокровеннейший час.
Свет в конце струится,
свет преднощный уже,
свет умиротворенья...
Тишина на душе.
Улеглись все волненья...



О, какой вдруг покой
в моем сердце разлился!
Древний дух избяной
вокруг меня водворился.
Угасает закат.
Но сияет лучисто
верой Иова взгляд
моей старицы чистой.
Будто рядом она,
будто не уходила...
Речь ее мне слышна.
Слов спокойная сила
здесь осталась, со мной.
Дышит слово любое
крепкой верой святой,
добротой и любовью:
«Есть святое-то! Есть!
Есть он — дар богоданный!
И не где-то, а здесь —
в здешних людях, жёланный!..»
Много их, кого страх
не коснулся отравный,
в чьих очах не зачат
веры свет православной!..»
Эта встреча — из встреч,
вспышка солнца в оконце!
Льется реченька-речь,
в душу, в душу мне льется...
Сон был чист и глубок.
В заревом сновиденье
видел я Старцев лог,
слышал дивное пенье.
Сон меня обступал
милосердием Бога.
После ливня сиял
мир пречудным чертогом.
Знал я: добрый покой
в этом мире возможен.
Все — под Божьей рукой,
под вниманием Божиим!
Было странно-легко.
На высокое ложе
был я той же рукой
милосердно положен.
Исцеленный тем сном,
погруженный в без боль, в
на воздыме степном
я лежал, средь приволья.
Светлых веянье сил
было чувствовать ново.
Дома я, на Руси,
средь народа родного.
Знал: мечту сохраню,
вопреки всем проклятьям,
по великому дню,
где все — сестры и братья...



Содержание

Юрий Лебедев. *Возвращение к святыне* 3

МЕТЕЛЬНЫЕ ЗВОНЫ

Русский день	8
В храме поруганном	10
Похолодало	13
Переход	14
Колыбельная-плач..	18
После моей хиротонии	19
Чаша	20
«Переломная эпоха...»	21
После исповедания	22
Рок-концерт в Чернобыле...	23
Лес по дереву не плачет?	24
Ночной вокзал посреди России	25
Во сне и наяву	27
Ночные думы на завтра	28
Крик	29
Меньше будет...	29
Глухому	30
Отпуская народ...	31
Страннику Сергию	32
«Круглые сутки...»	33
Над Русью ночной	34
«Из глубины воззвах...»	36
«Выбелив мир осенний, тучища уплывает...»	37
«Под бранью ветров проснулся и лежу...»	37
Метельные звоны	38
Все эти годы...	42
Проездом	42



В непогодную ночь, в незнакомом селе.....	44
«Вот враг разнес вокруг тебя ограду...»	45
Стариковские мысли	45
Тришкин кафтан	45
Дни бывают...	46
Ночь судная	47
В буранный час...	48
«В кинохронике тех лет...»	48
Одному сатирику-современику	49
«“Э! Козел!” — “Ты сам козел!”...»	49
«Говорим все о том...»	50
«В час беспросветной пурги...»	51
«Крик дурашний. “Жми на все педали!”...»	52
«Был человек. И — нет...»	52
Взгляд	53
Памяти двух убиенных великих русских поэтов	53
С натуры	54
«Вражды житейской тесен круг...»	55
В чистом поле	56
Сановники в храме	57
«Опять как будто голоса...»	58
«Как легко разлучиться...»	59
«Словами уже никого не проймешь...»	59
Будем жить!	60
«Над округой зависший снег...»	60

ТИХИЕ ПРИЮТЫ

«В небе осеннем открылось окно голубое...»	62
Северный сон	64
Деревня Родина	70
Заросло...	71
После ночлега в заколоченном доме	72
У лесного озера на вечерней заре	72
«Птичий следы на сыром песке...»	73
Осенний день на Покше	74
Дома	75
«Утоли моя печали»	76
«Хиальная осенняя погодка...»	78
Вернулся	79



Осенней ночью, под пролетающим самолетом	80
Ветер с Севера. <i>Триптих</i>	81
Из мотивов дождливого дня	83
Русские мечты	85
Перед прояснением	86
Тихие приюты	87
Моему Ангелу-хранителю	88
«Жизнь... Меня ты уводила...»	90
«Отсвет от облака на поле...»	91
Легкий день	91
Собираюсь рубить баню	92
Под сетью	93
«Невыразимая есть тайна бытия...»	95
«Ветер, ветер, не вышиби окна!»	95
Зимней ночью	96
Зимняя глухомань	97
«Ох, как во поле буря грохочет!»	98
«Нынче, на сером студеном рассвете...»	98
В похвалу огородным пугалам	99
Зимний закат	99
В детстве, на Страстной	100
Вдруг...	101
Вскопка огорода	102
Заводь Темницына на речке Ирше, притоке Унжи....	103
Ночная дума	104
«Капнул золотой слезой...»	106
В летнем полдне со старцем	106
Глядя на облако, восставшее над холмом	107
Зеленый дол	108
Блудный сын возвратившийся	109
Одиссей возвратившийся	110
Летним вечером	111
Над бездной бабочка..	112
Купанье в отрочестве	112
«Как вспыхнула радость!»	113
В тайный час	114
На ясном рассвете	115
«Старое дерево изб и сараев...»	116
«Лепит гнездышко ласточек быстрых чета...»	116
Теплый звон	117
Беседа в поле	118



«Пожары дня стоят над спелой рожью...»	118
В темном логу под светлым небом	119
«В доме плача открыли окно...»	120
«Вспоминаю и вспомнить никак не могу...»	121
«В раздумье глаза поднимаю...»	121
В дороге	122
«Ухожу от бочага...»	123
После ночной грозы	124
«Что за пташка вечерняя в желтом просвете...»	126
«Евангельский свет... Он и впрямь только детям...» ...	126
Последний вечер лета	127
Нимб	128
С усмешкой	128
«Сколько останется в мире дверей...»	129
«Высшие радости нынешних дней...»	129
«Дней счастливых мало?...»	130

ОСЕННИЕ ВИДЕНИЯ НА УНЖЕ

Осенние видения на Унже	132
Изба над Унжей. Поэма	139

ЗИМОВЬЕ

Зимовье	158
Под снегопад. Русская дума	163

ДЕНЬ НЕЗАБЫТЫЙ

Видение среди града полуденного	190
Причта о трех дорогах	199
Тот дом, тот двор... Быль	204
Про Саню Мазурова	216
День незабытый. Из отрочества. Поэма	222



Вячеслав Иванович Шапошников

ДЕНЬ НЕЗАБЫТЫЙ

Издания Костромской областной писательской организации
осуществляются в связи с принятой региональной
программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская областная писательская
организация. Телефоны: 31-21-09, 31-35-02.
Web page: <http://www.kosnet.ru/~bam>

Общее, художественное редактирование,
орнаментированная композиция
книги — М.Ф.Базанков
Оформление книги по графике автора.
Техническое редактирование, компьютерный
набор и оригинал-макет — А.М.Базанков
Корректура — Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина

Стихи и поэмы — в авторской редакции

Издание осуществлено при участии
городской и областной администраций.

Сдано в набор 12.03.99. Подписано в печать 19.05.99.

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уч.-изд.л. 17,5. Усл. п. л. 16. Заказ № 2769.
Тираж 1000 экз.

Отпечатано с оригинал-макета в областной типографии
им. М.Горького управления по делам печати и массовой
информации администрации Костромской области,
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.